

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ХРИСТИАНСТВО  
ИЛИ  
КОММУНИЗМ

ДИСПУТ  
С МИТРОПОЛИТОМ  
А. ВВЕДЕНСКИМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАД  
1926

НХ536

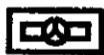
1961

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ХРИСТИАНСТВО  
или  
КОММУНИЗМ

---

ДИСПУТ С МИТРОПОЛИТОМ  
А. ВВЕДЕНСКИМ



---

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАД

1926

8  
1

Х 53

961

70758



# СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ

Легиз № 11630.  
Ленинградский Гублит № 18844  
4½ л. Отпеч. 10,000 экз.

l.

ХРИСТИАНСТВО  
ИЛИ  
КОММУНИЗМ

ДИСПУТ  
20 сентября 1925 г.

## **Доклад А. В. Луначарского.**

Товарищи, я понимаю мысль устроителей этого диспута таким образом, что мы разделяем общую тему о взаимном отношении и соотносительной ценности миросозерцания коммунистического и христианского на два раздела: Сегодня мы, очевидно, будем трактовать этот вопрос под углом зрения общественности. Мы берем сегодня коммунизм, как определенное общественное движение, устремленное к установлению определенной общественной правды, и под таким же углом зрения мы возьмем и христианство — как христианское устроение призыва жития.

И вот, с этой социальной точки зрения двух градов, взыскиемых разными способами, мы сегодня и будем обмениваться мыслями с моим оппонентом. Таким образом, из сегодняшнего своего доклада я устранию, насколько возможно, вопросы философские, т.-е. вопросы того или иного толкования мира, вопросы миросозерцания; их мы относим к завтрашней дискуссии.<sup>1</sup>

Христианство и коммунизм, как общественные устремления, перекрещиваются между собой в некоторых исторических пунктах по существу. Знакомясь с историей социализма, которая вместе с тем есть, конечно, и история коммунизма, вы встречаете несколько раз анализ, изложение христианско-социалистических явлений.

Прежде всего — первоначальный христианский коммунизм (он так и называется в истории общественных движений), затем, позднее (в средние века и в XVI веке) все более и более значительные вспышки христианско-социалистических ересей, доходящие до прямых социалистических революций под знаком креста, затем, ближе к нашему времени, различные явления новейшего христианского социализма; из них самым крупным, на котором мне придется остановиться с некоторым вниманием, является толстовство. Конечно, все эти проявления коммунизма, — я беру только важнейшие, — будучи окрашенными христиан-

<sup>1</sup> См. ниже стр. 45.

ской окраской и имея свои специальные исторические корни, отнюдь не отвечают тому определению коммунизма, которое ставим мы — коммунисты-атеисты, научные социалисты, представители нашего времени. Но общее название, данное здесь, дается, конечно, не зря, потому что некоторые черты оказываются совпадающими. Если мы остановимся на первых же принципах коммунизма, выдвигаемых крайне левым крылом первоначального христианства, то увидим с полной яркостью сходство и разницу; а установить это — для того, чтобы потом выявить преимущество той или другой стороны — мы должны прежде всего.

С точки зрения социальной коммунизм является всегда программой классов неимущих, классов, которые в сохранении частной собственности не заинтересованы. Так это было и с первоначальным христианством, в его первые века. В фанатическом мире передней Азии, северной Африки и по побережью Средиземного моря было тогда весьма большое количество пролетариата. Здесь укажем на необходимость отличать пролетариат больших центров античного мира от современного нам пролетариата. Несмотря на общее название с нашим пролетариатом, данное ему не зря, он имеет крупное внутреннее различие с последним. Это пролетариат в том смысле, что это есть действительно совершенно лишенный какой бы то ни было собственности элемент. Но если спросить себя, какую роль в общественном производстве играл тогдашний пролетариат, то придется сознаться, что он не играл в этом производстве почти никакой роли. В сельском хозяйстве занимало первое место постепенно разрастающееся крестьянство разных типов, в городском хозяйстве — рабский труд, порой собирающийся в нечто, напоминающее наши мануфактуры. А пролетариат представлял собою огромное, подчас, количество бедных вольно-отпущенников, собравшихся со всех сторон и оторвавшихся от своих корней бродячих людей. Положительно трудно установить экономически, каковы были ресурсы, источники жизни этого пролетариата. Он был настолько лишен каких бы то ни было источников обеспечения своего существования, что тогдашний социальный вопрос, поскольку он был обращен к пролетариату, заключался в том, как государству дать этому пролетариату хлеб, чтобы он не превратился в голодные толпы, правда, безоружные, но которые по самой своей массовости могли быть общественно-опасным элементом.

Этот пролетариат охватывал и рабскую группу трудящихся, и некоторые части ремесленной мелкой буржуазии. Поскольку тогда существовало и развивалось христианство, оно всегда попадало в среду более или менее мелко-ремесленную или мелко-земледельческую и тогда, повидимому, не проявляло сколько-нибудь типичных коммунистических тенденций. Может-быть, даже вся история, рассказываемая в действиях апостольских,

о суровом наказании лицам, вступившим в общину и не отдавшим в ее пользу своего имущества, является отсветом, некоторым эхом тех конфликтов, которые происходили между пролетарской частью христианских общин или пролетариями и членами христианских общин и частью мелко-собственнической. Я думаю также, что знаменитая фраза, которую нынешний коммунизм позаимствовал у тогдашнего коммунизма, фраза трудовая: «нетрудящийся да не ест» — представляет собою как раз формулу мелко-собственнических христианских организаций, потому что коммунистическим организациям христианства присущ другой дух и всякий из вас помнит другое выражение: «блаженны те, которые не сеют, не жнут, а живут как птицы небесные». Ясно, что если нетрудящийся не должен есть, то и птицы не должны есть, а если — блаженны те, которые не сеют, не жнут, то значит должен есть и нетрудящийся. Тут есть какое-то внутреннее противоречие, кажущееся просто странным и как-будто вытекающим из какой-то недоговоренности; но можно с уверенностью сказать, что каждый из этих текстов создавался в соответствующих кругах. Интересно отметить, что христианство развивалось в пролетарских кругах, ибо в течение долгого времени вовлечение в христианство крестьян развивалось крайне медленно и слово «raganus» (деревенский), от которого происходит современное слово «поганый», приобрело значение не-христианин, басурман, потому что христианство было религией горожанина и, более того, религией горожанина-пролетария. С этой точки зрения можно сказать, что коммунистические вожделения, коммунистическое тяготение первобытного христианства находилось в строгом соотношении с классовым положением, с классовым характером их носителей. Но в том-то и дело, что это было не только коммунизмом неимущих пролетариев, но это было также мироцентризмом и неработающих пролетариев. И в этом смысле интересно провести параллель между тогдашним пролетариатом, — поскольку он был носителем идей левых школ, устремленный христианства, — и нынешним пролетариатом. Здесь разница бросается в глаза огромная. И нынешний пролетариат характеризуется, конечно, большой бедностью, большим угнетением. Недаром Маркс говорит о нем, как о классе наиболее угнетенном, и доказывает, что победа этого класса над своим угнетением явится концом всякого угнетения. Маркс считает его последним из классов, самым заброшенным, самым обиженным; но несмотря на это современный пролетариат играет серьезнейшую и доминирующую роль в производстве. Если бы правителям и богатым людям Римской Империи предложили, чтобы весь римский пролетариат вымер, то они были бы чрезвычайно довольны, так как таким путем они освободились бы от миллионов дармоедов. Если бы такую вещь сказали современной буржуазии, то она пришла бы в ужас, ибо единственной основой всего нынешнего хозяйства городского и промышлен-

ного, преобладающего сейчас, является труд пролетария. Но мало того, что пролетарии вообще трудятся. Пролетарий есть тот труженик, который, по сравнению с трудом мелко-буржуазного труженика, кустаря, деревенского ремесленника, работает на самых усовершенствованных орудиях труда, с применением наивысших методов научной борьбы с природой для достижения определенных производственных целей. В этом смысле он может знать меньше, чем знают инженеры, но он работает, так сказать, на той же высоте, в той же плоскости, в какой работают деятели науки или современные величайшие инженеры нашего времени. Это передовой класс трудящихся, работающий по самым высоким методам, какие только знает эпоха и создающий в общем львиную долю всех благ нынешнего общества. Поэтому труд играет центральную роль в коммунизме современного пролетария. Он считает, что труд есть та стихия, которая нуждается в освобождении и в организации и которая реально на земле может и должна обеспечить счастье всех. Надо только, чтобы труд доминировал, чтобы труд господствовал, чтобы труд не эксплуатировался какими бы то ни было чуждыми, паразитными или мнимо-организующими элементами.

Ничего подобного не мог придумать, ни на что подобное не мог надеяться античный пролетарий. К труду он относился, как к вещи безнадежной, которой можно заняться только для того, чтобы случайно заработать кусок хлеба; но вообще он не видел никакого реального исхода из своего необычайно тяжелого положения. Ему не рисовался никакой реальный строй и перед ним не выявлялись никакие пути к строю, который бы имел характер действительного строительства, действительной борьбы. Можно сказать, что положение тогдашнего пролетария и трудящегося, не находившегося на большой высоте техники и культуры своего времени и представлявшего собой дезорганизованную толпу несчастных и лишних людей, которых никто не любил и о которых заботились только из страха, — можно сказать, что этот пролетарий находился в положении полного и безвыходного отчаяния.

Вы знаете, что подчас эти пролетарские толпы производили беспорядки, но эти беспорядки, даже в том случае, когда авангардом их являлись профессиональные люди оружия — гладиаторы, спартаки — даже тогда они падали под ударами организованной государственной солдатчины. И очень скоро в сознание каждого пролетария внедрилось убеждение, что мечом владеть он не может, что когда он берет меч, — он от меча и погибнет. С этой точки зрения такой род борьбы был для него путем заказанным. Если даже предположить, что пролетарий, руководимый каким-нибудь гладиатором, когда-нибудь победил бы в чисто военной схватке, — мог ли бы он организовать какое-нибудь общество? Ровным счетом ничего. Нельзя даже придумать, как мог бы он организоваться при тогдашнем положении производства

и при тогдашнем отношении к труду, нельзя себе представить, чтобы он мог наладить свое пролетарское царство, буде он его завоевал. Надо сказать, что этот многочисленный класс был классом нетрудовым, во многом — прямо паразитическим, был классом, приведенным в состояние полного отчаяния, никакого пути для своего спасения не видевшим.

Вот все эти черты глубочайшим образом оказались в том идеале, который возник в Азии и который довольно быстро распространился среди пролетариев, как добрая весть. Это — евангелие; и добрая весть заключалась в том, что близится, несмотря на всю невероятность этого положения, царство бедных, царство неимущих пролетариев. Конечно, это царство не может притти силами самих пролетариев, но оно придет силами существ надземных, силой великой и праведной, которая царствует над миром.

Как вам известно, все существовавшие тогда религии, которые к I веку переплелись между собой в причудливый узор синкетизма, — все они в конце концов устремлялись стать этической религией. Другими словами, римское государство, постепенно установившее известный распорядок жизни и покорившее другие племена под сень римского закона, было заинтересовано в установлении права и морали, как основы государства централизованного. И, поработитель и устроитель мира — Рим принес, в соответствии с этим, покровительствующие Риму божества (Рим почти все божества крупных покоренных племен объявлял вошедшими в свой Пантеон). Эти покровители Рима, эти божества принимали характер справедливых божеств, которые блюдут земной порядок и земную справедливость. Совершенно очевидно, что поскольку угнетенный многочисленный пролетариат спрашивал себя о том, как же относится к нему божественная справедливость, — он должен был дать себе такой ответ: «на земле справедливости нет; мы здесь живем в постоянном горе и в диком угнетении, без всяких надежд впереди. Но неужели справедливый бог, о котором все говорят, что он является вседержителем, совокупностью божеств, является праведным и всемогущим правителем, неужели оттуда, с этого неба, не следят каких-то распоряжений и не последуют какие-то вмешательства, которые устроят жизнь так, чтобы мы не были в таком безвыходно-страдающем положении?».

Если ставился такой вопрос, то, конечно, в разных местах могли возникнуть различные попытки ответа. Эти попытки ответа могли быть только одни, и на следы их мы постоянно натыкаемся: бог, царствующий над господами — бог господь, это — сила, им безусловно покровительствующая. Христианство, которое считает бога «отцом, вседержителем и творцом», тем не менее, в целом ряде своих апокрифических уклонов, да в конце концов и в евангелии — в основном учении — допускает мысль о том, что над миром сим царствует «царь мира сего» Бениург или даже Сатана, какое-то низшее божество, которое и представляет

собой покровителя и закрепителя существующего социального неравенства, всей глубокой лжи, в которой живет человечество вокруг поработившего его Рима. Но если это так, тогда приходится сказать, что не только правительство земное, но и правительство небесное враждебны пролетарию и рабу и, стало-быть, решительно никаких исходов из этого положения нет. И вот, различные божества, более или менее второстепенные для Рима, божества покоренных народов иногда начинают претендовать на роль специальных богов плебса, специальных богов-покровителей пролетариата и рабов; разные частичные, неорганизованные рабско-пролетарские религии, суеверия, секты возникают с разных сторон, и мы почти воочию видим и находим даже в самом писании следы того, как христианство ортодоксальное и до него существовавшее более расплывчатое, но все-таки уже определившееся как религия, христианство постепенно возникает из этих, сначала разбитых на кусочки, чаяний социального порядка. Каковы эти чаяния? Есть какой-то угнетенный бог или, по крайней мере, далекий бог. Этот угнетенный или далекий бог, который по тем или другим причинам не правит в мире, есть настоящий бог справедливости, а поскольку он есть настоящий бог справедливости, он есть вместе с тем бог-покровитель угнетенных. Придет время, когда он, возмущившись, разобьет оковы или когда он, ныне далекий, обратит внимание на то, что происходит под скипетром Бениурга, вмешается, как высшая правда, в этот наш подлунный мир и установит тогда настоящий порядок, порядок любви и т. д. Чисто демократические народные слои представляли это вмешательство, как устройство жизни на земле, но фантастическое устройство. Им казалось, что это высшее божество — божество справедливости придет, чтобы установить тысячи-челетнее царство, во время которого жизнь будет устроена на началах счастья для всех и братства между людьми, на основах глубокого покоя; когда каждый без всякого труда получит то, что нужно для его пропитания; когда люди не будут ссориться друг с другом, когда люди обнимутся как братья.

К этому народное христианство прибавляло еще сильную жажду мести: оно представляло себе дело так, что все обнимутся и рабы и господа, одинаково сознавшие праведность нового божьего мира и обнявшись пойдут под триумфальную арку и установят рай; конечно, они себе представляли его, как страшный суд над своими господами. Есть например, краски в «книге любви» — евангелии, от которых можно содрогнуться, если принять их всерьез, ибо эта книга любви — евангелие беспрестанно повторяет, что грешники (там имеются многократные, многочисленные указания, что грешники — богатые, надышавшиеся над бедными) пойдут во тьму кромешную, где скрежет зубовный, где червь не умирает, где огонь не погасает. В замечательном символическом рассказе в евангелии Луки мы нахо-

дим яркими красками написанную картину, как бедняк с лона Авраама смотрит на огненные муки богача и как безжалостная справедливость воспрещает положить хотя бы одну каплю воды на растрескающиеся языки этих поджариваемых бывших членов господствовавшего класса. И целый ряд святых отцов в красочной форме говорят о внутреннем ликовании по поводу грядущих мук этих грешников. В писании Павла говорится: «прощай обижающему тебя, ты этим собираешь уголья на его голову». Вот своеобразная любовь! — «я тебя прошу, но подожди, — что еще выйдет в конце концов, когда тебе придется ити на суд». Нельзя, конечно, удивляться, что этому простонародному пролетарскому христианству присуще и чувство мести и радость по поводу того, что неприявшие их евангелие, не пожелавшие быть братьями, люди будут за это тяжко наказаны на веки вечные беспросветно и безнадежно. Вот — символика или миф об аде, как принимает его и нынешняя церковь: имеется страшная сила злобы, которая накопилась в течение долгого времени и принимая которую милосердый бог, милосердый для пролетариев, для смиренных, для юродивых, для убогих, будет беспощаден по отношению к врагам низшего класса.

Постепенно начавшие примыкать к пролетариату представители высших слоев понимали это дело несколько иначе; они считали, что царство божие заключается в освобождении от материи. Дело принимает характер идеалистически-духовный — освобождения душ из плена нашего тела. Такой именно характер мы находим у гностиков. На них мне останавливаться не приходится, так как мы говорим только о социалистическом христианстве. Итак, создался грозный, горячий и привлекательный миф. Люди, которые поверили в истинного бога, могут быть уверены, что скоро он придет судить людей страшным судом, по окончании которого взойдет звезда утренняя, претерпевший спасется, и начнется царство бедных во Христе. Этот миф осложнялся таким моментом, что, по существу говоря, то высоко-мощное божественное существо, которое придет установить праведный порядок на земле, уже приходило на землю, дало свое учение и кончило борьбу, но почему-то погибло бесславной тяжелой смертью и только при втором пришествии использует свою победу и установит действительный порядок. При этом среди пролетариев-христиан тверда была вера, что это второе пришествие наступит не сегодня-завтра. Если мы спросим себя, из каких корней, кроме жажды спасения, кроме жажды помощи, вырос весь миф о сыне божием, «грядущем судить живым и мертвым», то мы увидим, что миф этот является только социальным приспособлением к нуждам пролетариата мифа о солнечном боге, который побеждает ночь, побеждает зиму и каждое утро или каждую весну устанавливает желанное царство света и тепла. С незапамятных времен — сначала в очень грубых, потом во все более утонченных формах — развертывался этот миф о боге, кото-

рый умирает и который воскресает, о боге, который одолевает злые силы и который всегда их побеждает. И вечный земледельческий кругооборот, вечное возвращение весны у целого ряда народов отражалось в повести о том, что миру присуще двойственное начало, что зло побеждает и царит некоторое время в мире для того, чтобы какой-то новый бог — в данном случае сын божий — пришел выполнить волю своего отца и т. д.

Бесчисленное количество мифов, сказок, верований и легенд нанизано на эту основную идею. Они до такой степени в течение тысячелетий варварского и дикарского существования человека, зависевшего полностью от времен года, слились с ним, сквились, что являлись долгое время настоящей основной почвой религиозного чувства. И вот, заброшенный пролетарий, который чувствовал себя в этом мире как бы погруженным во тьму ночную, как бы осужденным на долгую безрадостную голодную зиму, ждал этой звезды утренней, которая предвещает появление солнца, и настоящего дня правды. Все эти выражения, все эти метафоры, сравнивающие Христа с восходящим солнцем и светом, представляют собою прямые следы, прямые результаты того, что христианство было выводом социального истолкования религии света, социального истолкования, установленного именно особенностью положения пролетариата. Христианство не было религией какой-нибудь нации, обнимающей и угнетенных и правящих этой нации. Христианство сделалось религией бедных. Это было истинное открытие для юродивых, для непонятых, для последних из людей, этих последних, становящихся первыми. Весь этот миф был приспособлен к условиям социальной жизни, и эта ночная тьма, эта зимняя стужа заменена была не весенным переворотом в природе, а правдой, царящей среди людей, — заменена была революцией; но только эта революция не должна была созицаться руками самих пролетариев, — они себе не верили, — а созицаться, так сказать, путем внешней интервенции.

На облаках должен был спуститься сын божий, во главе значительных отрядов своеобразной революционной красной армии из ангелов, которая должна была помочь совершившись на земле перевороту. Этот переворот должен был быть страшным, террористическим, по описаниям в Деяниях Апостолов, источающим моря крови. Это имеет сходство с тем, как раньше рисовался образ пророка — в такой же форме, свирепо террористической. Омытый кровью мир в результате будет удостоен жизни полной мира и счастья.

Вот таковы основные черты тогдашнего христианства. Демократично ли оно? Да, оно демократично. Эти библейские всходы христианства глубоко демократичны потому, что они не только равняют последних с первыми, но ставят последних именно первыми.

Революционно ли христианство? Да, оно революционно, потому что упирается в этот самый страшный суд, о котором не

может без трепета говорить никакой грешник, обижающий своего ближнего. И, наконец, социалистично ли христианство? Да, оно социалистично вдвойне. Во-первых потому, что этот будущий строй будто бы закончится строем потребительского социализма: земля сама родит, работать даже не нужно, нужно только жить в свое удовольствие. Это то, о чем исстрадавшийся, изголодавшийся человек только и может мечтать. Представление о тысячелетнем царствии христианства рисуется этим людям именно как волшебная сказка о полном счастье. Мало того, оно социалистично еще и потому, что самый путь, по которому шло христианство навстречу этому восходящему зареву, — страшный суд, — обязательно должен был быть путем социалистическим.

Но прежде всего я должен оговориться: оно было демократичным христианством только до тех пор, пока в нем доминировал пролетарский дух. Как только возникло духовенство, как организация верящего пролетариата, и по мере того, как это духовенство начало, выражаясь грубо, снюхиваться с господами мира сего, оно начало изменять свой демократический дух, и рядом с текстами, которые свидетельствуют о глубоком демократизме, появились и другие — о необходимости не за страх, а за совесть, в силу власти божьей, повиноваться господам, властям и т. д.

Это происходило из двух источников. Во-первых, вследствие безнадежности неповиновения, а во-вторых, вследствие тех тенденций, которые довольно резко стали проявляться у церкви, как таковой, и которые привели к полной сдаче господам, когда церковь была объявлена опорой, основой, столпом утверждения как-раз того несправедливого классового строя, против которого она первоначально поднимала свой голос.

Революционно ли христианство? Да, оно революционно, но оно не призывает к революции народные массы, а, наоборот, призывает к терпению и надежде; из них опять-таки можно было сделать выгодное для господ употребление. Церковь могла заявить: «Итак, братья, терпите. Правда, Христос еще не пришел ни в первое тысячелетие, ни во второе, и мы не знаем, когда это будет; но до этого пришествия необходимо терпеть». Это уже является великолепной помощью для всякого рода предержащей власти, которая пользуется этим терпением для того, чтобы беспрепятственно в течение тысячелетий стричь эту покорную паству.

По мере того, как настоящие революционные тенденции начинают проникать в массы, христианство выступает против них и говорит: «не бунтуйте, а надейтесь». Тогда эта надежда становится прямо контр-революционной. Она гипнотизирует людей; и если бы они и были в состоянии добиться собственными силами переворота, то эта надежда все-таки парализует их революционную энергию. Наконец, и социалистичность эта очень относительна. Во-первых, социалистический строй в раю,

в тысячелетнем царстве рая, есть глубоко-потребительный строй, где сама природа будет протягивать плоды с ветвой. Поэтому там работать никому не нужно. Сказка, которая на самом деле несуществима абсолютно и которая убивает живую потребность, живой план человечества собственными силами, своими руками, своим трудом завоевать себе, вырвать у природы достойное человека существование!

Или вот этот социализм «в пути». Социализм в пути заключался в следующем: пролетарии собирались в ту или другую общину, большую или маленькую, для того, чтобы вместе молясь, в таком приподнятом ожидании со дня-на-день быть готовыми встретить второе пришествие Христа. Эти пролетарии должны были все-таки как-то жить, но задача эта казалась несеръезною: если не в эту среду, то в будущую пятницу будет светопреставление, поэтому было бы смешно накоплять сокровища на земле, лучше их собирать на небеси, а там они собираются верою, надеждою и любовью, а не трудом; поэтому и индивидуальной, и коллективной собственности незачем собирать. Завтра — землетрясение, чего же тут строить? Но, все-таки надо было как-то питаться, потому что ожиданье, как вы знаете, было длительным, и надо было как-то организоваться, чтобы дотерпеть, докормиться. Это можно было делать только путем взаимопомощи, чтобы более голодному, у которого ничего нет, все-таки дать какой-то кусок хлеба. Поскольку пролетариату мог перепадать частично заработка, милостыня, постольку эту скучную кладовую нужно было делить между спасенными, которые не завтра — после-завтра ждут грядущего небесного жениха. Вот на каких основах создались потребительско-коммунистические организации с их дьяконами, пресвитерами, епископами и т. д., которые должны были блюсти как организационную, так и экономическую стороны этой общей кладовой. Момент наполнения этой кладовой оставался совершенно в тени и, как вы знаете, церковное имущество, если оно позже и стало чудовищно расти, то главным образом пожертвованиями за упокой души и, лишь позднее, — подневольным трудом тех крепостных, которые появились у отшельников и монахов в их организациях, сделавшихся опорой широкого сельскохозяйственного и банковского дела, тех организациях рационально-экономически построенных, которые впоследствии в средние века сделали этих святых отшельников образцовыми хозяевами. Но это было позднейшее эксплуататорское вырождение монашества, а в те десятилетия, о которых я говорю, в эти десятилетия дело сводилось к этому временному питанию во имя терпения и взаимной любви, в котором обедня сделалась исходным пунктом, включив в себя оттенки отзывов старого языческого ритуала жертвоприношения, богоядения; но это уже относится к области христианских ритуалов, которые к сегодняшнему вечеру не имеют отношения.

Перевернув эту страницу и заглянув немного далее, я хочу остановиться на некоторых чертах христианского революционного коммунистического движения в XVI веке. К этому времени накопилось много жгучего недовольства в обществе (в особенности в Германии, но эти движения потрясли в большей или меньшей степени и другие страны). Во-первых, рост денежной системы, рост рынка побудил помещиков, представлявших собою главных владельцев тогдашнего мирового имущества и труда, перейти к чрезвычайно жесткой форме эксплуатации крестьян.

Дворянин всегда эксплуатировал крестьянина, но предел его жадности был положен аппетитами его самого, его семьи и дружины, а когда он стал продавать продукты крестьянского труда и менять их на деньги, которых никогда не было достаточно человеку, то, конечно, жадность его развернулась беспредельно, и товарное хозяйство заставило помещика еще сильнее нажать на пресс, давивший крестьянство. Это вызвало массовое крестьянское разорение и не только недовольство среди обедневшего крестьянства, но и выделение из деревни значительного количества выбитых из крестьянского хозяйства лиц, уходивших в город. Ремесленные города вынуждены были даже огородить себя, чтобы в поры их не набилось слишком много этого отброса — тогдашнего пролетариата из разорившейся деревни. Но часть этого пролетариата проникла в горную промышленность, начавшую развиваться, а также в среднюю по-нынешнему и крупную по-тогдашнему текстильную индустрию; кроме того, выросли некоторые ремесла, в роде обработки металлов. Словом, стали возникать и капиталистические предприятия, основанные на наемном труде. Само собой разумеется, что положение пролетариев, положение учеников ремесленных цехов, которые к тому времени тоже стали превращаться в пролетариев, сильно ухудшилось. Цехи стали разрешать мастерам держать помногу учеников, ученики больше не переходили в категорию подмастерьев и до седых волос оставались учениками — повторяю, положение их сильно изменилось. Все это создало большие массы недовольных пролетариев и полупролетарского элемента, и когда вспыхнула тогдашняя великая революция, т.-е. революция крестьянская, то и пролетариат был в эту революцию вовлечен. Он был не только вовлечен в нее, но, как более организованный и более решительный класс, стал во многих отношениях во главе крестьянского движения.

Центральной религиозной формой, в которой выявилось тогдашнее пролетарское движение, был анабаптизм. Это было крайнее выражение реформации, оно отвергало все формы религиозных верований, которые могли бы в какой-либо мере способствовать укреплению и оправданию позиции богатых. Анабаптисты и, в особенности, левые секты их стали обеими ногами на почву евангелия в его социалистических частях. Они стояли на той точке зрения, что должна быть прекращена война, нера-

венство людей между собой; что люди должны установить настоящую правду Христову на земле. Но, по правде сказать, хотя и возникало иногда острое движение, истерическое ожидание прихода Христа — со дня-на-день, но не даром прошло 1600 лет, и это ожидание Христова пришествия не занимало такого уверенного места в их миросозерцании. Они готовы были себе помочь в этом деле. Они говорили: «те, кто услышал вновь воскресшее евангелие, те, кто прошел вторичное крещение, те должны работать в пользу бедных, в смысле установления царства равенства.

Каким оружием? Во весь первый период развития анабаптизма мы видим абсолютнотолстовский подход к этому, настолько, что можно толстовство считать ветвью германского и швейцарского анабаптизма. Говорят о том, что ни в коем случае нельзя сопротивляться злу: если тебя бьют, подставляй другую ладонь. Именно, только самопожертвованием, — тем, что ты будешь как «агнец перед стригущим его безгласен», ты приобретешь свободу; только словом и мученичеством проповедуя имя Христово и правду Христову. Но дело пошло социально не так, как ожидали анабаптисты. Их били по правой ладони, они подставляли левую, их били по левой, а затем опять по правой, а затем начинали их колесовать, четвертовать, погружать в кипящую смолу или заливать рты кипящим свинцом и т. д., одним словом предавались издевательскому и варварскому истреблению всех центров и всех ветвей этой секты, в которой богатые люди сразу увидели опаснейшее для себя проявление социального протesta. Но так как мы имеем дело с пролетариатом уже в некоторой степени промышленным, с пролетариатом, ученичеством и т. д. в некоторой степени вооруженным, да еще опирающимся на крестьянские бунты, с крестьянской платформой и знаменитыми «башмаком» и «красным петухом» в помещичьих усадьбах, — то очень скоро анабаптисты переходят к тому, что надо сопротивляться. Наиболее энергичные люди из секты заявляют: «господь с нами и даст нам победу. Перекрестись и во имя любви к ближнему твоему опоявшись мечом, потому что иначе ясно, что эти волки пожрут стадо Христово и, может-быть, ко времени пришествия Христа останется только поле, усеянное костями». Поэтому возникли бурные военные сопротивления давлению властей, разразившиеся первой Коммуной, — Коммуной странной, сумбурной, пестрой, захватывающе интересной, до сих пор недостаточно исследованной, дальше продолжавшейся и, я бы сказал, даже более драматичной, чем Парижская Коммуна, — Коммуной Мюнстерской. Этот город оказался во власти пролетариата и мелких ремесленных людей, во главе с бродячим актером Иоанном из Лейдена, и сопротивлялся громадной армии господ в течение одиннадцати месяцев с величайшим героизмом и единодушием, введя у себя военный коммунизм и полное единство имущества и, как иногда иронически говорят, общность жен или многоженство. На самом деле это означало, что женщин

у них было больше чем мужчин, и каждому мужчине приходилось заботиться о нескольких женских существах. Это имело скорее экономический характер, чем характер разврата. Но во всяком случае эта Коммуна, косматая, нелепая, сумбурная, драматичная настолько, что непонятно, почему она еще не послужила сюжетом для великолепной трагедии, а выразилась только в музыкально крепком, но литературно никуда не годном произведении, «Пророк» Мейербера, — во всяком случае эта Коммуна отбивалась долго и героически пала, после чего, конечно, была истреблена, вырезана, замучена от первого до последнего человека. Если мы присмотримся к этой вспышке, то убедимся, что это была, пожалуй, самая высокая волна революционно-христианского коммунизма, потому что здесь он был действительно революционным. Но догматы христианства и революционные попытки, революционные тенденции Иоанна Лейденского и его учеников сливаются в совершенную и полную неразбериху: инстинктивно взялись за ножи, инстинктивно стали говорить, что надо действовать мечом, хотя Христос сказал: «сколько у вас мечей — два? Ну, так и оставьте всякую надежду» и это отражало уверенность пролетариата, что он слабее и поэтому на путь борьбы вступать не должен. Присущая христианству тенденция — надеяться на божественные силы, — а самому ничего, кроме подвигов милосердия, не оказывать, должна была раздирать внутреннее самосознание революционных анабаптистов. И мы видим здесь не продукт христианства, а, наоборот, мы видим здесь восстание, выревшее из естественного озлобления пролетариата, который не смог, однако, окончательно разорвать плеву религиозного мироцентра. Еще несколько шагов дальше. Если бы были возможны дальнейшие шаги, то от христианства остались бы только клочья, оно видоизменилось бы так, как оно видоизменилось в Мюнстерской Коммуне, когда католический христианский мир осаждал этот город и хотел поскорее посадить на кол и сварить в кипятке служителей Христовых, осуждая их, как дурных последователей Христа, отступивших от настоящего учения церкви.

Наконец, если мы перейдем к современности и остановимся на толстовстве, наиболее гениальном выражении попыток разрешения социальных вопросов христианским пониманием, то увидим то же самое. Я не буду заниматься анализом социального происхождения толстовства. Это очень интересный вопрос, гениально намеченный В. И. Лениным в его статьях, на которые я обращаю внимание всех, кто интересуется этим вопросом; я не останавливаюсь на нем, так как это завело бы нас слишком далеко, а я хочу кончить, как можно скорее, чтобы дать возможность развернуться диспуту. Поэтому не буду останавливаться на социальных слоях, которые поддерживают толстовство, а остановлюсь на некоторых чертах, разъединяющих нас с толстовцами и ставящих нас во враждебное отношение к этому учению

о путях, которыми нужно притти к социальной справедливости. Нас меньше всего интересует его содержание, но больше всего мы интересуемся проверкой вопроса на опытах толстовства. Наш коммунизм, активный промышленный пролетариат, сознательный пролетариат организует достаточную военную силу, чтобы от врагов, не желающих пустить человечество к его правильной самоорганизации, потребовать эту дорогу и пробиться на этот путь. Это требует действительно серьезной борьбы, серьезной истребительной борьбы, это требует концентрирования государственной силы,— против централизованной силы врага можно действовать только централизованной силой,— это требует проведения тех мер, которыми государство может обеспечить свое существование и освободиться от своих врагов. Всякому коммунисту все эти стороны противны в достаточной степени; каждый коммунист понимает, что если бы были другие пути для установления коммунистического мира на земле, то он предпочел бы их, но так как другого пути нет, то решительно, героически и трезво коммунист встает на этот путь борьбы. Естественно, что он относится крайне нервно к людям, для него являющимся краснобаями, бессознательными, обманывающими, которые мешают ему, которые ставят препятствия к тому, чтобы пролетарий бросил оружие, поднятое им во имя справедливости, и добиваются, чтобы он подставил шею их господству, уверяя, будто словом проповеди можно добиться того же успеха.

Мы прекрасно знаем, что такого рода учения очень громко провозглашались и в первые века христианства. Это не поколебало никак мир господ; не поколебало его, конечно, и толстовство. Сами того не желая, толстовцы устремляются к беспросветному подчинению бедноты господствующему классу, кормя бедняков надеждами на какие-то мирные пути, которыми можно установить справедливость,— к вящему удовольствию господ, все же ненавидящих толстовцев за их критику существующего строя. Господа ненавидят толстовцев за то, что они критикуют их словами, но прощают им за то, что они все борются против критики оружием. Такая критика для них гораздо опаснее, и толстовцы, отвергающие ее во имя словесной критики, являются желанными друзьями господствующих классов.

Однако, надо все-таки остановиться и на идеале, который ставят толстовцы и который ставим мы, потому что есть одна черта, миновать которую я не могу и которой я кончу это мое введение, сделав выводы из всего сказанного.

Толстовство отрицает материальную культуру. Оно говорит: «материальная культура, т.-е. наука, искусство и вместе с ними развертывающаяся техника, вот то начало, которое именуется в библии Каиновым началом или началом Вавилонского столпотворения; начало по существу своему греховное, разъединяющее и ничего не дающее». Толстой сам с ненавистью относился к наступающему на Россию капитализму и все, что относилось к капита-

лизму, было ему ненавистно. Капитализм с его машинами, с его городами, с его верой в медицину, с его предрассудками, с государством современного типа, его войнами, его корыстью, торговлей, хорошими и дурными сторонами, — все пахло отвратительным запахом ада, дьявольской серой.

И что же Толстой противопоставлял всему этому? Толстой сам был большой барин, рядом с ним жили консерваторы-баре, которые противопоставляли этому нашествию чумазого, а за ним и самого его величества купона, как называл Успенский капитализм, — противопоставляли барство и говорили, что старая боярская Россия выше наступающего капитала. Но гениальные представители барства стать на эту точку зрения не могли, ибо они понимали всю звериность, присущую барству. Они с молоком матери всосали негодование по отношению к крепостному праву. Они знали прекрасно, что на этих дворянско-аристократических позициях удержаться нельзя. Вот почему Владимир Ильич в своих статьях о Толстом ни разу не говорил, что он является идеологом дворянства, а все время и совершенно справедливо говорил, что он является идеологом крестьянства, противопоставляя современности старую русскую правду, ту прадедовскую правду, когда зерно было с куриное яйцо, как сказано в одной из сказок Толстого. Толстой в самом деле старается идеализировать деревенские отношения и сказать, что надо вернуться к деревне, уничтожив город. Поэтому будущий коммунистический и полу-коммунистический строй рисуется ему как незлобивое крестьянское добрососедство: каждый копает землю, сажает на ней свою капусту и съедает ее для того, чтобы продолжать свое существование в добрых и мирных отношениях со всеми другими, никого не эксплуатируя, и не будучи никем эксплуатируем; думать же о разной роскоши, о вавилонском столпе, о городе, о власти над природой, — это есть полнейший разврат, это от лукавого, от капитала. Коммунизм есть дитя капитала. Коммунизм целиком признает капитал за благо. Коммунизм говорит, что капитализм со всем его злом пришел как раз для того, чтобы дисциплинировать и обучить человечество, подняв его до степени научно-организованного труда, без которого никакая правда на земле и никакое сожительство, действительно достойное человека, не может быть осуществлено. Только путем науки и колossalного развития техники человечество становится таким богатым, что действительно может требовать уничтожения бедности на земле.

Поэтому для коммунистов ясно, что не нужно отрицать знания, но нужно взять их из рук капиталистов, и в этом правильном использовании сил городской индустрии, городской культуры при ее дальнейшем быстром развитии, коммунист и видит ключ к настоящей победе. Поэтому мы, в этом смысле, говоря библейски, являемся, несомненно, «наследниками Каинова племени», того Каина, который, как нам известно, изобрел все — от

кузнецкого ремесла до музыки, и даже не протестуем против вавилонского столпотворения. Если бы было правдой, что бог устроил землю и мог, значит, разделить народы, то призыв: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» является истинным призывом к победе над этими божьими ограничениями и к новому соединению всех сил человечества для того, чтобы новый вавилонский столп был закончен и знаменовал собою победу человека над природой, возможность исторгнуть из нее все необходимое для бесконечного дальнейшего развития человеческого гения.

Таким образом, если мы суммируем то, что я противопоставлял коммунизму по кусочкам, в виде разных форм и состояний христианского социализма, то мы увидим разницу. Там и здесь — стремление к правде. Там — это стремление с самого начала не имело возможности при помоши собственного своего труда построить действительный фундамент человеческого счастья. Эта возможность появляется только тогда, когда последний из классов, пролетариат, становится носителем организованного труда. Тогда он откалывается от идеализации христианства, от надежды, что земля будет родить без труда, и говорит: «владыкой мира будет труд, и этот владыка мира позволит на этом труде развернуться разумному и счастливому быту человеческого рода». То же сознание разрозненности, дезорганизованности сил отчаявшихся классов сказалось в мистике христианского социализма, в истерических, гипнотизирующих всех упованиях на помочь нездешних сил, что является с нашей точки зрения самообманом. Это может быть устранино только тогда, только тогда вместо магии может стать трудовой процесс борьбы, когда соответственным образом трудовой народ почувствует себя организованным и мощным. Только тогда он может отбросить эти мистические идеи и взять винтовку в руки, обретя в ней ключ для того, чтобы в борьбе, может быть не очень короткой и очень тяжелой, на самом деле совершив свой собственный суд,—не дожидаясь никаких «пришельцев того мира»,—возможно более короткий, возможно более мягкий. Пределы эти во времени и жестокости устанавливаются силою сопротивления врага. Если мы теперь посмотрим на христианский социализм с этой точки зрения, мы можем только очень враждебно к нему отнестись. Мой уважаемый оппонент, если я не ошибаюсь, зная его по некоторым беседам и сочинениям, стоит на точке зрения социалистической и даже коммунистической. Он принадлежит к числу тех христиан, которые не защищали господ или богачей и которые не взывают к тому, что не нужно никаких социальных перемен. Он является ревностным сторонником справедливости на земле и в формах этой справедливости, в общем и целом, всегда более или менее близко подходит к тому, о чем говорим мы. Но он является не прямо социалистом-коммунистом, а христианином-социалистом и коммунистом. Он сам нам расскажет, на какой манер он это соединяет, но все те приемы, на которые

я указал, нам абсолютно непригодны и, думаю, не могут никогда нам также пригодиться построения уважаемого гражданина Введенского потому, что раз сюда входит христианство, то он в свою программу, в свое учение несомненно должен внести упования на бога, следовательно, известное угашение боевого духа на земле, неминуемо должен будет внести такие вредные начала, как стремление противопоставить так называемые «духовные блага» благам материальным, сказать нам, что мы, стремясь к материальному благосостоянию, забываем о духе. Мы не забываем о духе, но мы знаем, что на почве материального благосостояния вырастает богатейшая и сложнейшая культура и что мы в этой культуре, в дальнейшем развитии нашего ума, чувств и т. д. полагаем свою настоящую цель. Но когда противопоставляют духовные блага материальному благосостоянию, то это пахнет тем, что нечего надеяться добиться на земле чего-нибудь хорошего; а тот человек, социалист и коммунист, который полагает, что на земле нельзя всего добиться, который заставляет нас как можно чаще подымать очи горé, этот человек будет отвлекать наше творческое боевое знание от нашей задачи. И чем меньшую дозу введет гражданин Введенский в социализм от христианства, тем будет лучше, а если и совсем никакой дозы не введет, будет совсем хорошо. (Аплодисменты.)

### **Содоклад А. И. Введенского.**

Я охотно принимаю предложенную Анатолием Васильевичем постановку сегодняшнего диспута — касаться лишь социальной стороны христианства, отложив вопрос о философской стороне дела на завтрашнюю дискуссию. Идя на это соглашение, я заранее сознаю и те трудности, которые при такой постановке вопроса выпадут на мою долю. В самом деле, Анатолий Васильевич сегодня сравнивал марксизм, социализм, коммунизм с христианством, как явления, будто бы до известной степени адекватные, равные. Но, несомненно, марксизм есть прежде всего экономическое учение, а христианство есть экономическое учение после всего. Таким образом, если упор в марксизме лежит в экономической проблеме, то христианство центром всей своей системы имеет вовсе не экономические факторы, не экономические проблемы. Поэтому рассмотрение христианства только с точки зрения социально-экономической есть рассмотрение не всего христианства, а только одной его грани. С этой точки зрения и моя концепция христианства, которую я имею честь здесь представить перед вами в немногие минуты, находящиеся в моем распоряжении, будет концепцией, в которой не будет очерчено все христианство, а будет очерчен лишь его экономический идеал, и поскольку экономический идеал христианства — еще раз обращаю на это ваше внимание — должен быть одним

из последних в системе идеалов христианства, поскольку может быть вам покажется, что христианство, как социалистическая система, куда ниже марксизма. Фактически дело может быть не так, потому что христианство есть прежде всего религиозно-философский подход к миру и социальный момент в нем есть один из текущих многообразных моментов.

Вот в чем трудность моей задачи, о чём я считаю необходимым предупредить аудиторию заранее.

Все же, давайте, подойдем к христианству, как к социальному моменту. Я очень рад был услышать из уст такого авторитетного знатока социальных проблем, как Анатолий Васильевич, категорическое утверждение, что христианство, конечно, есть до некоторой степени социализм. Я говорю — рад, потому что четыре дня тому назад на очень большом диспуте, происходившем на противоположной точке нашего Советского Союза, — под горячим небом Крыма, — ответственный представитель атеизма утверждал, что христианство по самому своему существу есть капиталистическая выдумка, что Христос и первохристианство есть зарождение капитализма и что ничего социалистического найти в нем, при всем желании, нельзя.

Несомненно, трудно представить себе более неверную точку зрения, чем та крымская, о которой я говорил, и если я не считал нужным о ней упоминать, то потому, что такие крымские настроения в отношении христианства можно найти в различных широтах. Со стороны Анатолия Васильевича здесь был сделан, по крайней мере формально, правильный подход к оценке христианства с точки зрения общественной. Да. Если угодно, можно назвать христианство, до известной степени, социализмом, когда Анатолий Васильевич, характеризуя социализм христианства, повторяет мысль Каутского о том, что христианство есть только социализм потребления, а не производства, хотя Анатолий Васильевич, характеризуя христианство, указывает нам на то, что как будто бы христианство в своей идеологии, в своем социологическом моменте выдвигает точки зрения, взаимно исключающие: «нетрудящийся да не ест» и «блаженны птицы не сеющие». Когда таким образом христианство вскрывается перед вами, — вам может показаться, что христианство это какая-то эклектическая система, мозаика, вам может показаться, что христианство, это — какой-то компот из всевозможнейших настроений, из всевозможнейших плодов и словес тогдашней действительности, что, в сущности говоря, нет единого христианства, что христианство с самого начала, — насколько я понял концепцию Анатолия Васильевича, — по крайней мере двухстороннее явление, — с одной стороны низы, тогдашние рабы, отчаявшиеся и разочаровавшиеся в военных неудачах Спартака и революционно и, отчасти, социалистически настроенные, поскольку тогда это возможно было, и, с другой стороны, в том же христианстве имелся враждебно настроенный социализму элемент. В качестве иллюстрации этого противо-

социалистического течения в первохристианстве Анатолий Васильевич привел нам духовенство. Таким образом, христианство рассматривается Анатолием Васильевичем, как бы до известной степени механическое объединение самых разнообразных человеческих слоев. Я не спорю, что, подходя к оценке тогдашнего первохристианства, с точки зрения слоевой, классовой, вы, действительно, очень легко можете указать, что в христианстве были разно-классовые моменты, но вот тут самая существенная черта и упущена глубокоуважаемым Анатолием Васильевичем в его характеристике первохристианства: мы до сих пор не осознали глубины христианства.

Я не считаю, что бросаю в эту аудиторию парадокс, если отмечаю, что христианство до сих пор не понято и не принято миром во всей его глубине и широте. Каждый из нас, подходя к христианству, подходит и рассматривает его в меру, так сказать, тех возможностей, которые открывают ему те или иные оптические приборы, очки или пэнснэ, через которые начинают рассматривать христианство. Христианство именно поэтому и встречает такую многообразную и как-будто бы взаимно исключающую оценку. Я вспоминаю классические страницы из «Сущности Христианства» Гарнака, где этот авторитетнейший историк церкви, либерал и весьма большой либерал, с точки зрения православной ортодоксальности, замечает, что каждый хочет видеть Христа в своем лагере. Одни объявляют Христа спино-зистом, другие объявляют Христа социалистом. Гестингс совершенно справедливо указывает, что фигура Христа, его учение, настолько колossalны, что даже ближайшие его ученики не могли на отдельных страницах и даже в целых произведениях уложить целого Христа. Каждый из них воспринимал его, даже при ближайшем общении с Христом, только через призму своих субъективных настроений, субъективных возможностей. Отсюда Христос бесконечно грандиознее даже своих ближайших учеников, отсюда о Христе нельзя судить хотя бы по нескольким более или менее удачно или неудачно — это зависит от точки зрения — слаживаемых текстов. К Христу надо попытаться подойти, если возможно, вплотную, к Христу надо попытаться подойти религиозно, хотя сегодня религиозная точка зрения, по возможности, у нас исключается, и я, не имея поэтому возможности обосновывать этой истины, я все же замечаю, что она является приусом и психологически и фактически, без чего Христос останется вечно неизвестным путником по дороге в Эммаус. Граждане, в первохристианстве вы действительно можете видеть классовую расколыку, но внутри самого христианства вовсе не существовало, как это кажется Анатолию Васильевичу, двух противоборствующих течений: демократические низы и иерархические (а в дальнейшем капиталистические) верхи. Я пытаюсь брать первохристианство в его чистейшем виде. Я ни в коем случае не буду оспаривать совершенно спра-

ведливых указаний Анатолия Васильевича о том, что в дальнейшем расслоение это было — и в наши дни мы замечаем грандиозные иллюстрации этого положения, — в дальнейшем христианская иерархия открыто стала на сторону капитализма, превратившись, по образному выражению Эррио, из христианства катакомб в христианство банков. Но ведь это — вырождение христианства. Я попытаюсь брать христианство, по возможности, в его идеальном разрезе, ибо, несомненно, в фактической истории христианства был момент, когда первохристианство (хотя бы первых десятилетий) насколько возможно отражало Христа не в кривом зеркале, а в прямом. И вот в этом первохристианстве, несмотря на то, что в него входили люди разных классов, классовые перегородки сжигались, расплываясь в огне всеобъемлющей любви, которую Христос согревал души в него уверовавших. Трудно себе представить более фактически неверные указания некоторых историков церкви, утверждающих, что первохристианство захватило именно низы, что первохристианство — как пишет Каутский — это религия пролетариата или даже «лумпен-пролетариата»; нет, христианство это — религия ч е л о в е к о в — да простится мне это славянское речение. Христос обращается не к высокому или низкому классу, не к богачам или к пролетариату, а он пытается обратиться непосредственно к человеку. Христос делает призыв к человеческой душе. Христос меньше всего, я бы сказал, поощряет такие, казалось бы, естественные инстинкты тогдашнего пролетариата — через религию достигнуть реванша в отношении захвативших власть представителей буржуазии. Когда народ хочет объявить Христа своим политическим героям, то Христос всякий раз уклоняется. Когда его хотят сделать царем, то он тоже категорически отвечает: «Я — царь, но царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда», как говорит он в евангелии Иоанна Богослова. Таким образом перед Христом стоял (говоря языком человеческим) соблазн сделаться вождем бунтующих, неоформивших своего бунта масс, о чем пишут Каутский и другие историки этой школы. Христос все это отстраивает, Христос все это отвергает, Христос дает человеку религию человека, вот почему Христос, — как это ни странно, — был понят не только лумпен-пролетариатом или просто пролетариатом, у которого естественно в душе могли бы звучать лозунги — «Долой богатство», но Христос находит отклик, могучий, горячий отклик в сердцах богачей, против которых он сам так часто подымал бич своего осуждения. Да, несмотря на то, что Христос сказал, что богач не войдет в царство божие, как верблюд не пройдет в игольное ушко, несмотря на то, что Христос пошел против тогдашней буржуазии, в лице тогдашних фарисеев, саддукеев, мытарей, — по нашему банкиров, пародия на современных банкиров, — несмотря на это ко Христу, как это рисует евангелие, чуть не в первую голову пришли богачи.

Вы скажете: «для спасения себя, своих экономических возможностей». Конечно, нет, потому что Христос первым делом требовал от приходящих к нему полного отрещения от экономической весомости. Всякий, кто не отрещается, сказано в евангелии, от всего, что имеет, не может быть моим ученикам. И вот к Христу приходит Заккей — богач, отдающий половину того, что приобрел, к Христу приходит богатый юноша и, правда, опечаленный отходит, но иные богачи и после слов Христа, осуждающих богатство, остаются с ним верными до конца: Иосиф Аримафейский — богач, знатный человек, Мария Магдалина, по очень древнему и, вероятно, подлинному преданию, весьма состоятельная женщина — идут за Христом. В дальнейшем можно указать, — я не хочу только утомлять вас иллюстрациями, — аналогичные весьма многочисленные случаи.

Итак, к Христу тянутся богачи, тянутся состоятельные люди наравне с несостоятельными. Вы можете сказать, что у них хитрый коммерческий расчет: лучше здесь на земле отдать тленное имущество, которое «тля тлит и воры подкалывают и крадут», но зато там получить с процентами.

Ведь Анатолий Васильевич рисовал вам картину, основываясь на словах Игнтия Богоносца, какого-то почти-что магометового рая, где и гроздья виноградные, и колосья пшеницы, и девушки прекрасные. Совершенно восточная фантазия в духе грядущего Магомета. Конечно, если в христианстве были такие настроения, если в христианстве были определенные люди и, может-быть, прослойки, которые действительно хотели экономического реванша, которые хотели дать бой тогдашнему капитализму (мы, например, у некоторых учителей церкви читаем прямо-таки каннибальские фразы; я вспоминаю одного африканского епископа, который говорил, что на том свете все праведники будут ходить по колено в крови грешников), то это не есть подлинное христианство. Это — некоторые болезненные уклоны, действительно, может-быть, вызванные исключительно трудным экономическим положением известной части принадлежащих к христианству масс. А положение было трагическое. Вспомните работу известного экономиста Маркварта о положении рабов в античном мире в эпоху христианства. Рабы буквально умирали с голода. Рабы получали от своего господина на содержание в течение года 18 рублей. Это была буквальная голодовка и неминуемая смерть. И если эта голодная часть христианства мечтала об экономическом реванше, то это настроение чуждо самому христианству, как таковому, чуждо той идее, которую Христос хотел вложить в сердца людей. Ведь Христос не всегда был понят даже своими близкими и подчас самыми близкими. Можем ли мы забыть, что Христос апостола Петра, которого католическая церковь называет князем апостолов и который, по представлению католиков, на том свете будет открывать двери, кого не впускать, а кого не впускать, — даже

этого апостола Петра Христос назвал сатаной и сказал ему: «отойди от меня, сатана, потому что ты мыслишь не божеское, а человеческое». В ближайших своих учениках Христос встречал порой сатанинское непонимание. Следует ли из этого, что сама идея Христа неудачна, если даже ближайшие ученики ее воспринимали неверно? Анатолий Васильевич марксист, и поэтому ему мой пример подойдет в первую голову. Из того, что Шейдеманы, Эберты и Носке не поняли Маркса, следует ли, что идея Маркса неверна? Нет. Из того, что идея Христа унижалась по близорукости, благодаря тем близоруким, так сказать, очкам, которые надевали маленькие ученики Христа, что в истории церкви как в кривом зеркале исказилось это непонимание, следует ли говорить, что подлинное христианство с точки зрения правды есть учение отжившее? Я полагаю, что христианство, правильно понятое, не есть учение отжившее, но есть то учение, которым дышит сейчас, вот в эту минуту, вся аудитория. Это не парадокс. Христианство близко всем, как воздух. Позвольте попытаться это мотивировать.

Христос, обращаясь к человеку, хотел, чтобы у человека была человеческая жизнь. Простая и как-будто пустая кое для кого формула. Да, она проста, как истина, но и глубока, как истина.

В самом деле, ведь в корне всех наших социальных страданий, социальных коллизий и трагедий лежит забвение нашей человеческой разноценнности. Если Рокфеллер, по образному выражению Джека Лондона, может на завтрак заказать себе сотню бифштексов и улечься на ста постелях, когда другой не имеет корочки хлеба и угла, это лишь потому возможно, что Рокфеллеры и Морганы думают, что они — люди в сотой степени. Вот почему они могут лежать на ста постелях. В преувеличении достоинства отдельных людей, а отсюда и классов за счет забвения разноценностей, равнозначностей людей, принадлежащих к иным классам, в забвении первичного человеческого достоинства, в забвении нашей человечности лежит источник всех социально-человеческих трагедий.

Вот почему Христос, напоминая всем, что все — люди или, как он говорит, все — братья, уже в потенции, уже в связанном состоянии, дает нам этим самым возможность разрешения всех социальных проблем. Ибо, если мы все — одинаковые люди, одинаковые братья, беря евангельскую терминологию, могут ли существовать у нас социальные трагедии? В моей семье, в вашей семье, разве вы для вашего ребенка не отдаите последнюю рубаху, а если нужно, и жизнь? Разве можно представить, чтобы в вашей семье были капиталистические отношения, чтобы отец вкушал сотню блюд, а сын, наподобие Лазаря, пытался собрать случайно упавшие крохи? Таких трагедий в нормальной семье быть не может, потому что там прежде всего есть общее для всех членов семьи сознание одинакового челове-

ческого достоинства, в лучшем понимании этого слова. По концепции Христа весь мир — такая человеческая семья, а в такой обще-человеческой семье невозможны ни классовые взаимоотношения, ни социально-экономические трагедии, как они невозможны в обычной человеческой семье.

Если вы скажете, что это — практически утопично, то ведь сейчас мы рассуждаем лишь о принципиальном подходе. Я полагаю, что принципиальный подход Христа к разрешению социальных драм, является единственно возможным. И теперешний, так называемый, «марксизм», это есть евангелие, перепечатанное атеистическим шрифтом. (*Аплодисменты.*)

В самом деле, если все — братья, тогда нет социальных драм. Вы скажете: «соглашусь, сделаю уступку митрополиту Введенскому». В потенции, в возможности, у Христа было и реальное разрешение жизненных трагедий, но лишь в потенции, — а, простите мне резкое слово, — христианство было фактически импотентно, фактически пришли патриархи Тихоны, папы Львы тринацатые. (Папа Лев тринацатый, как известно в своей энциклике *«Rerum novarum»* говорил, что бог установил, чтобы люди разделялись на богатых и бедных.) Я знаю эти трагические факты. Но при чем здесь Христос? Нам говорят, что Львы тринацатые и Тихоны, это люди с ясной, определенной идеологией буржуазии, капитализма, потому и являются сторонниками буржуазии и капитализма, что они ученики Христа, ибо Христос фактически, несмотря на свои революционные призывы (а они революционны и с вашей точки зрения), объективно в лучшем случае соглашатель, ну, а вы хорошо знаете, что соглашатель это — социал-предатель. (*Смех.*) Я думаю, что нельзя себе представить более чудовищной клеветы на Христа, чем та, которой Христа опозорил Толстой. Толстовство гораздо более серьезный враг христианства, чем атеизм. В самом деле, такой знаток религиозной проблемы, как Анатолий Васильевич, например, квалифицировал толстовство как, быть-может, наиболее глубокий христианский подход к разрешению социальной драмы, а между тем это наиболее мелкий подход. Действительно, несмотря на то, что Анатолий Васильевич, ссылаясь на большой авторитет для себя, характеризует Толстого как идеолога крестьянства, — я полагаю обратное. Я не буду спорить, что Толстой субъективно был за крестьянство, но объективно Толстой был идеологом дворянства. В самом деле, что говорил Толстой о Христе, как рисуется Христос под кисточкой Толстого? Я уважаю все национальности, но по Толстому Христос это герой в стиле немецкой Гретхен: льняные волосы, расчесанный пробор, волосок к волоску, белые одежды, непорочные лилии и какой-то не замечающий всех ужасов социальной драмы взгляд. Христос чистый, лилейный, над всем возвышающийся, ничего не замечающий, Христос Гретхен, а не Христос самого евангелия! Христос, непротивляющийся злу — это чудовищно! Я бы

сказал, это — несносно, это *contradictio in adjecto*, это внутреннее противоречие. Вы скажете — но, боже мой, а формальный, так сказать, приговор, который сам Христос вынес себе своей знаменитой фразой: не противься злу? Граждане, я все-таки полагаю, что не бесполезно мне будет напомнить социальный момент в биографии Толстого. Толстой — представитель помешичьего дворянства и, может-быть, рефлективно, может-быть, бессознательно это дворянство в широком смысле этого слова отравило его философию и его религию. Я очень плохой социолог, вероятно по политграмоте провалился бы немедленно, но мне представляется, что сущность дворянства заключается именно в ничегонеделании. Дворянство привыкло, сидя в горячо натопленных горницах, там, в своих родовых медвежьих дырах, пользоваться трудом всех, и блага приходили к ним сами. Ничегонеделание — вот что характерно для дворянской психологии. И в этом своем дворянском ничегонеделании дворянство занималось прекрасными вещами; играло на фортельяно, читало Вольтера... Ведь сколько у нас было дворян-вольтерьянцев, но активно они ничего не делали. И Толстой нарисовал Христа, если хотите, в лучшем случае дворянином-вольтерьянцем: осудил все, а фактически упокоился в мягком дедовском кресле. Сам типичный ничегонеделанец, в глубоком смысле этого слова, Толстой, по образу и подобию своему, вспоминая фразу Ксенофона и Фейербаха, создал своего бога — Христа. Не забуду меткой фразы моего учителя и тезки, покойного проф. А. И. Введенского, который отказывал толстовцам в самом наименовании христиан.

Да, в действительности, в конце концов ничто так не чуждо Христу, как ничегонеделание, ибо принцип «непротивление злу» есть принцип ничегонеделания. Христос был величайший активист. Когда Христос брал слово осуждения, когда он называл книжников и фарисеев змиями и порождениями ехидны, когда он так выступал против мира, — было ли это ничегонеделанием, было ли это непротивлением злу? Сегодня диспут «марксизм и религия — христианство». Я вспоминаю, что прежде, чем компартия, руководимая гением Ленина, перешла к террористическим, или точнее: к диктаторским актам, — он брал бич осуждения. Годами Ленин писал в Швейцарии зажегшие потом весь мир страницы. Было ли это ничегонеделанием, если Ленин фактически в своем кабинете не был вооружен бомбами и револьверами? Граждане, если бы не было ленинской агитации, то не было бы и осуществления ленинской диктатуры. Поэтому называть ничегонеделанцем и непротивленцем Христа, потому только, что он в первую очередь брал бич осуждения, было бы по меньшей мере несправедливо. Но Христос не только выступал с пламенным горячим словом, он выступал и как величайший активист в буквальном смысле этого слова. Отнеситесь к целому ряду евангельских страниц хотя бы только как к символике, — к знаменательной, с вашей точки зрения, символике! Но вспо-

мните Христа, входящего в храм с материальным бичом, изгоняющего торговцев, опрокидывающего столы и рассыпающего монеты, осквернившие дом божий, это — активист, в буквальном смысле этого слова. Но и наш символ (как вы думаете, а как полагаем мы — наша реальность) — угроза Христа окончательным вмешательством в мирские дела (чем является страшный суд, который для вас так непонятен и неприемлем) — это все идет по линии диктатуры. Вы считаете эту диктатуру Христа невозможной. Прежде времени мы спорить не будем. Подождем и посмотрим, хотя бы и с вашей точки зрения, если вы подойдете к этому, хотя бы как к языку символики, — Христос здесь выступает как величайший активист до конца. Больше того, он мобилизует не только силы земные для осуществления своего идеала, но и силы вселенные. Здесь, если хотите, диктатура в космическом, вселенском, абсолютном масштабе. Поэтому, когда хотят рисовать Христа непротивленцем, тогда, когда в меру дворянской близорукости забывают подлинную психологию Христа, обычно базируются на фразе Христа «не противься злу».

Что значит, однако, эта фраза? Я вспоминаю прекрасный комментарий к этому месту евангелия моего здешнего университетского учителя, профессора Ф. Ф. Зелинского, который говорил, что евангельское место, переводимое нами «непротивься злу» так же, равноправно можно перевести словами «непротивься злом», творительным, а не дательным падежом. (Посмотрите греческий подлинник, — я не вхожу здесь в филологические тонкости по понятным причинам.) Христос проповедывал не непротивление злу, а непротивление злом, т.-е. не противился бесмысленными, неприводящими к цели методами. Христос провозгласил приоритет, первенство нравственного влияния, не отказываясь в исключительных случаях и от физического воздействия для достижения идеи человечности: бичующих изгнал и осудил всех, кто не будет пленен очарованием красоты его идеала. Вам, революционерам, за это осудить Христа прежде всего нельзя потому, что вы сами — сторонники диктатуры. Но несмотря на то, что мы живем в век диктатуры, я позволю себе напомнить смысл диктатуры. Ведь диктатура и с точки зрения воинствующего марксизма, это не перманентное состояние, а лишь известная историческая необходимость. Диктатура будет существовать лишь дотоле, пока не будет уничтожена эта классовая перегородка, а сами вы ее разбиваете по двум фронтам (я бы сказал, не только по фронту военного коммунизма, но и по фронту того Наркомата, во главе которого стоит уважаемый Анатолий Васильевич), вы просвещаете, вы берете метод воздействия духовного, интеллектуального, педагогического, духовного оружия. За что же вы упрекаете Христа в ничего неделании или непротивленчестве, когда он за 2 000 лет до вас впервые так вселенски употребил этот же метод? Итак, лишь дворянская — да простится мне резкое слово — отрыжка Тол-

стого позволила ему так исказить подлинную психологию Христа. Таким образом евангелие, Христос, с точки зрения социальной, являются факторами прогресса в глубочайшем смысле этого слова, являются факторами, которые желают использовать прежде всего утонченные духовные методы, не отказываясь, в крайнем случае, и от тех резких принципов, которые, как вам кажется, вы впервые избрали.

Граждане, я стараюсь кончать. Два слова — и речь моя закончена. Если я сказал, — и в зале я заметил волну улыбки, — что в сущности вы все пропитаны христианством, даже те, кто его отрицает, то, повторяю, я не сказал лишь эффектного, но легкомысленного парадокса. Граждане, позвольте вам напомнить о пустяке, об аксиоме: мы все с вами здесь окружены воздухом, дышим им все — аудитория и революционно настроенная, и христиански настроенная, дышит одинаково. Граждане, а вы замечаете этот воздух, вы думаете об этом воздухе, вы размышляете об его химическом составе, вы замечаете физиологический процесс вашего дыхания, вы думаете об условиях физиологии дыхания? Меньше всего. Даже случайно присутствующие врачи, пожалуй, об этом забыли, а воздух существует и воздухом дышим все мы. Он все проникает. Он незаметен, но без него нет жизни. Мы потому его не замечаем, что привыкли к нему, что мы в нем всегда. Так и идея христианства: она, как воздух, как атмосфера облегает весь земной шар человеческой истории, христианством пропитана и вся современность, ибо те идеи, которые противопоставляет сейчас марксизм христианству, например — идеи братства, бесклассовое состояние, как вы говорите, — терминология у вас, конечно, не евангельская, согласен, — идея бесклассового государства, бесклассового человечества, грядущий, «цукунфштадт», где нам будет так хорошо, ведь это же идеи Христа — его учение о всечеловеческом братстве. Когда вы говорите, что вы за принцип труда, то я напомню что, — несмотря на то, что Анатолий Васильевич однозначно отозвался о лозунге: «нетрудящийся да не есть», этот лозунг я видел в разных городах на ряде революционных плакатов. Я лишь огорчался, что нет ссылки на апостола Павла, на его послание к колониям, откуда взят этот лозунг. Когда же вы говорите о принципе борьбы, борьбы даже до крови, то этот принцип борьбы даже до крови за свою идею первый осуществил Христос, распятый на Голгофе. Таким образом, христианство с точки зрения социально-общественной прежде всего не меньше, чем ваш социальный подход. Христианство даже и безмерно больше, поскольку оно захватывает все человеческое «я», а вы — лишь социальный его момент, но об этом, по условию, я сегодня умолкаю — речь в этой плоскости пойдет завтра. Поэтому я сказал бы, что все те социальные счеты, которые вы преподносите христианству, написаны не первом марксиста, не первом ученого, а первом человека, плохо помнящего историю. (Продолжительные аплодисменты.)

## **Заключительное слово А. В. Луначарского.**

Товарищи, я с большим удовольствием беру слово для ответа на очень интересный содоклад гр. Введенского. Гр. Введенский представляет собою в значительной мере крайнее левое крыло нынешнего официального христианского самосознания и, обладая большим талантом соратора и большой эрудицией, наверное, перед столь обширной аудиторией привел самые веские аргументы, какие привести в защиту его строя идей возможно; поэтому весьма интересно с такими последними, наиболее существенными аргументами посчитаться. (*Аплодисменты.*)

Я постараюсь итти по столам моего оппонента, от пункта к пункту, и полагаю, что не пропущу ни одного из его утверждений, направленных против тезисов, которые я выставил в моем основном докладе. Гр. Введенский прежде всего устанавливает, что марксизм — прежде всего экономика и даже, может быть, целиком экономика, в то время как христианство гораздо шире и после всего экономика. К этому я должен сделать поправку: марксизм не есть только экономика, марксизм представляет собою целостное философское мировоззрение и совершенно определенно (и с полной уверенностью) претендует на то, что оно дает ответ на все вопросы, в том числе и на те, которые были поставлены религией. В завтрашней нашей дискуссии гражданин Введенский будет излагать философские взгляды христианства; я постараюсь доказать, что мы имеем не менее стройную, законченную философию, только не зараженную остатками древних представлений, а идущую целиком по путям нового, точного, научного, критического человеческого мышления.

Но отвергая таким образом это обвинение в узости, которое нам ставит гражданин Введенский, я должен сказать, что действительно марксизм придает земной жизни (а земная жизнь определяется хозяйством, выработкой определенных благ, без которых человек существовать не может) чрезвычайно большое и, для нашего времени, центральное значение. Правда, те, которые думают, что марксизм находится в вечном плену у забот о материальном благосостоянии, забывают великое положение Энгельса, что переход к коммунизму будет прыжком из царства необходимости в царство свободы. Смысл этого утверждения Энгельса заключается в том, что наша задача — освободить человека из-под власти экономики, что наша задача — реально привести человеческое хозяйство к такому состоянию, что человечество сможет, при сравнительно незначительных затратах своих сил, разрешить вопросы производства и распределения нужнейших благ и тогда всю остальную свою жизнь и сравнительно большую часть этой жизни отдать свободному выявлению творчества в индивидуальной и социальной жизни. Но путем

к этому, путем к такому состоянию, когда разговоры о свободе, об умственном развитии и нравственном совершенстве не будут оскорбительной для сотен миллионов людей болтовней, может быть только полная реформа нашего хозяйства. До тех пор, пока нас душат нищета, болезни, невежество, вырождение, до тех пор все эти разговоры являются праздным самоутешением дворян или не-дворян, но во всяком случае верхушек, которые находят в той или иной степени достатка известное обеспечение этих «высших» своих проявлений.

Вот почему путь экономической революции, путь создания рационального хозяйства на земле марксизм ставит во главу угла и в дальнейшем моем возражении вы увидите, что гражданину Введенскому не удалось доказать, что христианство достаточное значение придает этому моменту, а тем самым не удалось доказать и его действенность, что вы увидите с совершенной точностью из моего дальнейшего изложения. Мы сейчас встречаемся с одной большой трудностью в споре с гражданином Введенским. И. И. Скворцов, мой большой друг, в сердитой рецензии на мою книгу «Христианство и социализм», указал, что с моей стороны является ошибочным связывать христианство в какой бы то ни было мере с идеями социализма. На самом деле, конечно, никакой разницы во взглядах на эти вещи между мною и Скворцовым нет, и здесь могло произойти только недоразумение, в зависимости от того, какой момент дискуссии мы выдвигаем на первый план.

Конечно, временами, в известных своих прослойках христианство перекрещивается с коммунизмом; никто не может отрицать того, что в первобытном христианстве существовали коммунистические организации. Никто не может отрицать существования социалистической тенденции у некоторых христианских сект в XVI столетии. Никто не может отрицать соприкосновения толстовцев с социалистическими тенденциями и, до некоторой степени, с социализмом. Но это не значит, что христианство действительно вращается, как вокруг оси, вокруг социалистических идей. Колossalная историческая привилегия христианства и вместе с тем убивающая его слабость заключается в его расщатанности, в его неопределенности, которая дала возможность христианству разделиться на множество несогласных между собой толков и учений, в результате чего самые противоположные тенденции могли ссылаться на христианство с одинаковым правом. С этой точки зрения довольно трудно найти какой-нибудь тип христианства, который можно было бы назвать истинным. Когда полемизируешь с христианами официально-церковного типа, которые готовы доказать, что христианство призвано, и законно призвано, защищать капитализм, самодержавие и т. д., конечно, приятно ткнуть такого человека на социалистический текст в евангелии и сказать, что в то время христианство учило не так, как учите вы.

Но какое из этих учений истина? Это, конечно, каждый понимает по-своему; а для нас они все одинаково неистинны.

То, в чем гр. Введенский видит огромное преимущество христианства, есть именно его многоликость, как он назвал, — его многогранность. Но эта многоликость такова, что она приводит на протяжении истории к взаимному осуждению, к взаимному истреблению, пощечинам на христианских конгрессах, к непрерывному ряду виселиц, ссылок во имя Христа одной части против другой, при чём каждый называет себя истинным сторонником Христа.

Введенский объясняет, что христианство настолько много-гранно, что никто его вместить не может. Я должен сказать, что это учитель загадочный, который дразнит человечество; и незачем было приходить 2 000 лет тому назад, чтобы принести миру такое учение, которое заставило нас избивать друг друга при его толковании. Ежели ясно и толково Христос не мог выражаться, если христианство есть какая-то тайна за семью печатями, то в таком случае безнадежно думать, что и Введенский изложит нам учение Христа. Оно так огромно и так не вмещается в наши головы, что, пожалуй, лучше всего оставить его в стороне. Я не знаю, думает ли Введенский, что он значительно выше Петра, но история, в какую попался Петр — камень, на котором зиждется церковь, — показывает, что мы не можем быть уверенными, что если бы (как пишут Достоевский и Синклер) Христос оказался среди нас, он не обозвал бы нехорошим словом гражданина Введенского, заявив, что тот его совершенно не понял. Будем исходить из того толкования, которое дает Введенский. Надо сказать, что учение Христа не поняли папы, не понял Толстой, а митрополит Введенский понял. Тогда давайте послушаем, что же это собственно такое, в чем же заключается центр этого великого учения, которое так часто было не понято и не принято.

Когда гражданин Введенский высказывался по этому поводу, он сам немножко испугался и признал ту истину, что Христос призывал человека и призывал его к человеческой жизни, очень пустой и расплывчатой, но, вместе с тем он говорит, — она глубока, как сама истина. Во всяком случае это — общее место, это правда, и такими общими местами мы дышим, не замечая этого, как мы дышим воздухом, потому что это ровно ни к чему не обязывает.

Правда, гр. Введенский дает собственное истолкование того, что значит жить человеческой жизнью, он вносит сюда социалистическое истолкование, которое может быть профессор Гарнак, на которого он ссылался, отнюдь не принял бы. Он говорит: «жить по-человечески, это значит жить по-братьски, а жить по-братьски, это значит жить, как в семье, где все общее». Это значит, что Христос на самом деле призывал к социализму. — Дальше идут мистические части христианского учения. Во-первых, далеко

не все христиане с этим толкованием согласятся, как указывал и сам гр. Введенский. И у Христа можно вычитать, или, вернее, в тех книгах, которые приписываются Христу, можно вычитать и такие утверждения, и противоположные утверждения; но мы допустим в нашей дискуссии, что если брат Христово учение в социальном разрезе, то истинный и главный его смысл, немногими понятый, заключается в том, что Христос зовет к равенству и братству. Оставим пока этот пункт и перейдем к следующему. Впрочем, следующее смыкается с этим, так что мы сначала приступим к дальнейшему рассмотрению того, что же из этого непосредственно выходит. Итак, значит, Христос в социальном разрезе, тот Христос, в которого верит гр. Введенский, призывал к братской жизни. Гр. Введенский говорил: принимая принципиально, что люди братья, надо притти к выводу, что неравенства, эксплуатации, борьбы между людьми не должно быть. Но она есть.

Тов. Ленин любил говорить очень остроумную фразу: «признать что-нибудь принципиально — это значит отвергнуть на деле». В самом деле, если вы что-нибудь признаете принципиально и сейчас проводите в жизнь, то значит вы это конкретно признаете, а если вы признаете только принципиально, то вы знаете, что вы отказываетесь этот принцип осуществить. Так вот, если Христос признал принципиально, что люди братья, а братья в это время таскали друг друга за бороды и эксплуатировали друг друга, то от этого решительно никому ни тепло, ни холодно. Это есть плавающая над действительностью абстракция.

Мы должны сейчас понять, что же предпринял этот воображаемый Христос или что предприняло совершенно конкретное христианское учение, христианское направление во всей его многогранности, чтобы это осуществить? Ведь оно сказали: в идеале люди должны жить как братья, а они живут как волки. Какой же мост был переброшен между реальным человечеством и идеальным, братским человечеством?

Гр. Введенский говорит, что, по существу говоря, это требование настолько совпадало с требованием марксизма, что сам марксизм кажется ему евангелием, перепечатанным атеистическим шрифтом. Он позднее сослался на Гретхен, но в эту минуту сам уподобился Гретхен. Когда Гретхен слушала философские речи Фауста, то сказала: «наш пастор говорит то же самое, но только иными словами». Так и Введенскому показалось, что тут только немножко иные слова. Но тут совсем не «немножко иные слова». Поскольку бедноте, а вместе с тем и многим наиболее сильным умам и отзывчивым сердцам всегда рисовалась идея мира между людьми, братства между людьми, постольку это общее положение, которое встречается у множества учителей, особенно выразительно тогда, когда социальные муки, когда неправда во всем обществе достигают максимума. В том-то и сила

марксизма, что вместо этих общих фраз он дает способы осуществления идеала и доказывает, что этот идеал не только осуществим, но не может не быть осуществлен. В этом сила марксизма. Надо прямо сказать, что марксизм сделал реально возможным то, что неуловимая мечта превратилась в реализуемый план. Если это называется перепечатать евангелие атеистическим шрифтом, то я желал бы, чтобы все идеалы человечества были перепечатаны этим шрифтом и предлагаю гр. Введенскому приступить к этому. Только тогда, очевидно, он найдет те пути к реализации, которых он так и не находит. Гр. Введенский распространялся перед нами относительно того, что Христос всячески уклонялся от решения политических задач и от решения экономических задач. Когда Христу, говорит гр. Введенский, предлагали сыграть политическую роль, Христос решительно отталкивал это и даже обзывал своих учеников нехорошими словами. Он не развивал никакой реальной экономической программы. Гр. Введенский говорит нам, что ведь к Христу приходили и богатые, эти богатые привлекались теми или другими сторонами учения Христа. Богатому молодому юноше было сказано: «отдай твое имущество бедному». Этот примитивный утопический разделительный социализм не может привести к обогащению бедных, он может привести только к обеднению богатых. Это примитивная, довольно убогая, но благодородная мысль. Богатый юноша отошел огорченный. Но вот другой пример: Закхей отдал половину своего имущества. Позднее перестали отдавать половину имущества, а отдавали только ничтожную часть. Что же, отказавшись от политической программы, от экономической программы, сумел Христос как-нибудь сдвинуть эти человеческие отношения? Разделили ли богатые свое имущество, стали ли бедные богаче?

Нет, никакой перемены после того, как Христос, согласно легенде, жил, страдал и т. д., не произошло. Богатый остался богатым, бедный остался бедным. Только сейчас начинается последний решительный бой (еще далеко не по всему миру) под знаменем марксизма, а знамя христианства до сих пор нисколько не изменило ход экономики и политики и оставило положение абсолютно в том же несправедливом состоянии, в каком нашел его Христос. Гр. Введенский говорит, что Христос был действенным; надо тогда сказать, что он был неудачником, ибо никаких результатов от этого действия не произошло. И чтобы доказать, что Христос был действенным, творческим, несмотря на то, что его борьба почему-то не привела ни к каким результатам, гр. Введенский обращается к абсолютно несправедливой критике Толстого. Я не буду входить в анализ того, чьим идеологом является Толстой, но что Толстой является в области учения непротивления злу и насилию совершенным христианином, этого опровергнуть нельзя, и здесь гр. Введенский запутался в противоречиях.

Гр. Введенский говорит, что Толстой не хотел вести никакой борьбы, а Христос боролся. Как же он боролся? Первый тезис гр. Введенского такой: Христос боролся словом, жгучей критикой. Гр. Введенский доказывает, что жгучая словесная критика есть то же действие, есть та же борьба. Он говорит: до тех пор, пока мы не стали употреблять силу, мы употребляли силу слова. Я отвечаю на этот первый тезис.

Мы признаем оружие критикой и критику оружием. Мы не отказываемся от утверждения, что слово критическое, разрушительное есть вместе с тем созидательная, просветительная сила. Вот почему мы не называем «петушиным боем» серьезный диспут. Мы знаем, что это есть серьезное дело и на него приходят потому, что он является не словопрением, а делом. Но, вместе с тем, словами, как иерихонскими трубами, нельзя заставить пасть никакой Иерихон. На самом деле слова подготавливают почву для того, чтобы организовать силы угнетенных для дальнейшего натиска. Вспомним т. Ленина: «Тот является праздным болтуном, кто не заменяет оружие критикой и критику оружием, когда для этого оружия пробил час». Во-первых, доказательство, что Христос был действенным потому, что он боролся словом, еще николько не ставит его в разряд людей действенных с нашей точки зрения. Для этого еще нужно доказать, что Христос действительно призывал в словесной агитации к борьбе. Но разве Толстой не боролся словом? Как же забыть такие моменты, когда этот старик, во времена грозного самодержавия, не мог молчать? Разве это означает, что он был пассивен? Кто это может сказать, когда его проповеди разносились по всем уголкам мира? В области словесной борьбы это был беспощадный критик; он критиковал и самодержавие, и господствующую церковь, и многое другое (что может быть критиковать и не следовало); это был дух воинственный и нетерпимый. Во имя любви к людям он развил огненную критику, и этого отрицать никак не приходится. Это означало бы — рисовать Толстого каким-то неверным силуэтом. Но гр. Введенский не остановился на этом. Он говорит: «всегда одна словесная критика не есть действенная борьба».

Но у Христа есть еще три момента «действенной борьбы», говорит гр. Введенский. Первый момент: Христос взял бич и несколько раз ударил этим бичом каких-то торговцев и перевернул их ларьки. Символ это или нет — мы не знаем, но, во всяком случае, это в высшей степени жалкое явление. Христос не хочет политической борьбы, как говорит гр. Введенский, а ведь это даже и не борьба, а попросту — скандал. Можете ли вы вообразить себе, чтобы т. Ленин или Маркс взяли какую-нибудь увесистую дубинку, отправились в банк и стали колотить каких-нибудь зайцев? (Смех, аплодисменты.)

Эту сцену можно спасти только tolkuyya ее как символ; иначе выходит какая-то несуразность: с одной стороны — «не противясь злу», а с другой — «взявшись меч, от меча погибнет»;

с одной стороны — «оружием нельзя добиться правды», а с другой — вот этот свист бича. Мелкий эпизод, если из него не сделать настоящего вывода. Можно сказать так: сейчас неготов, — готовься. Марксизм долго так говорил. Но разве христианство так говорило когда-нибудь?

Второе, на что указал гр. Введенский: Христос впереди указывал страшный суд и мобилизовал не только силы земные, но и силы небесные, космические, так сказать. Мобилизовал ли он силы земные? Нет, фактически не мобилизовал. А когда ему предложили мобилизовать, то он сказал: нет. Вы помните Помпея, который говорил: «мне стоит топнуть и появятся легионы». Ему сказали: «топни же», — но он не топнул, потому что и топни он — легионы все равно не появились бы. На это очень похоже звучат и приведенные слова из евангелия — здесь многим приходится слышать такие слова, которые им непривычны. Производит несколько комическое впечатление это утверждение: «если бы я захотел, то более десяти миллионов ангелов спустились бы меня защищать». На это можно было бы сказать: «захоти, господи». Но он не захотел. (Смех.) Да если бы и захотел, то никакие легионы ангелов не спустились бы. Таким образом, силы небесные Христос не мобилизовал, а только обещал мобилизовать и вот уже 2 000 лет не держит обещания. Стало быть, с мобилизацией дело не вышло.

Теперь третье, гр. Введенский говорит: вы призываете к борьбе, к кровавой борьбе, а Христос пал жертвой такой борьбы. Он был распят. Но позвольте, мы призываем не к такой борьбе, где бы нас побеждали, а к такой, где мы были бы победителями. (Аплодисменты.)

Что значит пролитая кровь Христа? Она должна пониматься двояко: во-первых, ритуально. Со страшно давних времен в человечестве укоренена была мысль, что с приходом весны получение благ может быть куплено только кровавой жертвой божеству, что жертва человеческая есть самая угодная жертва этим людоедным богам и что она особенно угодна, если приносится излюбленный богом человек. И вот христианство рисует абсурд. Я не знаю, как это понять, что всеблагой, всемилостивый бог создает мир, мир оказывается прескверным — совершенно не удался. Какими судьбами вышло так, что всемогущий бог создал неудачный мир, я не знаю, но он пустился его исправлять и (для исправления!) предал своего сына. За то, что он сделал ошибку, ему пришлось пожертвовать сыном.

Но какая же это жертва сыном? Сын посыпается на землю, чтобы жить праведником и пасть жертвой судебной ошибки, чтобы быть казненным ни за что, ни про что. Тогда всеблагой Господь, увидев, как погибает на кресте распятый людьми его сын, прощает за это людей. Все это странно, даже если прибавить слова евангелия, что спасутся только те, кто поверил в Христа после распятия; даже и с этим добавлением полу-

чается какая-то непонятная кровавая трагикомедия, которая оказывается напрасной, ибо огромная часть человечества не поверила в Христа и не пошла за Христом, и, стало-быть, пошла в ад. Но в этом сумбурном, абсурдном описании божественной легенды о крестной смерти Христа есть один момент, а именно вера, что путем жертвы можно потрясти сердца врагов — этот момент правильный. Мне описывали, как во время нападения на Кавказ генерала Шкуро был арестован коммунист, как он в лагере этих врагов, которые уже его окружили и готовы были его пытать, чтобы добиться — большевик он или нет, признал себя большевиком, стал в самых энергичных выражениях поносить их, раскрывая их настоящую сущность, и привел их в такое бешенство, что тут же его и растерзали на куски. Было ли этоrationально? Рационально, потому что каждый из нас должен стоять на той точке зрения, что мы должны быть готовы на всякие жертвы в доказательство того, что наше общее дело мы ставим выше своей жизни; ибо только в том случае, если известный коллектив свое дело ставит выше жизни отдельных членов, он может быть уверен в победе. С этой точки зрения жертва является очень важным агитационным приемом; но в том-то и беда христианства, что оно проповедывало, будто оно, как учение, должно победить мир и его спасти. Нам говорят, что оно победило, что вся Европа сделалась христианской,— на словах, а на деле она осталась капиталистической, она осталась такой же неправой, как и раньше. Поэтому, повторяю, наш призыв к борьбе не есть только жертвенный. Мы идем на борьбу не как ягнята на заклание, а мы идем на борьбу как вооруженные борцы, с целью победить. Таким образом, доказательства действительной боевой действенности учения Христа, конечно, у Введенского не вышло, и мы видим это абсолютное совпадение с Толстым. И Толстой говорил: отказывайся ити на военную службу — убьют, пусть убьют; бог выше, чем твоя жертва. Он говорил о жертве и в знаменитом письме «Не могу молчать»: «намыльте веревку, наденьте на мою старую шею, я буду счастлив принести такую жертву». Зачем же отвергать Толстого с точки зрения христианской действенности? Он очень действенен в этих пределах. Но он призывал не противиться мечу мечом, не устраивать вооруженного восстания. Если бы Христос на самом деле существовал, я, пожалуй, не мог бы его упрекнуть в том, что он не призывал к вооруженному восстанию, потому что оно тогда не было своевременным, а призывать надо только к своевременному восстанию. Но, в таком случае такой учитель должен был сказать: «сейчас это несвоевременно. Надо готовить силы», а не говорить: «терпите, если бьют, поворачивайте ланиты». А Христос говорил это? Этому учит евангелие?

Стало-быть, в нем не было никакой другой действенности, кроме проповеднической и кроме надежды на мистические силы. Поэтому основные тезисы сегодняшней позиции гражданина

Введенского совершенно отпадают. Вот, если бы он энергично и окончательно стал на другую точку зрения, именно на ту точку зрения, что Христу и его последователям не важны бедность и богатство, что он не призывает ни к какому устройству земной жизни, что это совершенно несущественно, потому что жизнь наша коротка и мы во время ее должны заботиться не о том, чтобы устроить жизнь на земле, а о том, чтобы душу спасти, чтобы на том свете приобрести сокровище для собственной бессмертной души. Это были бы основные для нас, так сказать, неуловимые христианские тезисы. Но так как мы в душу не верим и в небо не верим, то мы называем всех, кто призывает людей свои силы от реального устройства земного счастья перенести в эти фантазии, невольными обманщиками, а обманутых ими считаем глубоко несчастными. Конечно, они могут вплоть до смерти верить, что когда умрут, то ангелы отнесут их в лоно Авраамово, — но это неправда, они будут обмануты и в надежде на то, что ангелы их отнесут на небо, в этой жизни позволят себя эксплоатировать, — что и требуется эксплоататорам.

Вот как бы я тогда ответил. Но, гражданин Введенский захотел быть до такой степени оригинальным, что изолировал себя от всех христиан: Толстого оттолкнул в одну сторону, Папу Льва XIII — в другую и — не знаю, с кем он остался? (*Аплодисменты.*) Много ли останется таких священников, которые пойдут вслед за гр. Введенским до тех пор, до которых он дошел (а я сейчас точно определи — до каких пор). Затем, попрошу гр. Введенского сказать, сделает ли он еще следующий шаг или нет? Это интересно: до какого шага дошел Введенский? Он говорит: «оставив в стороне другие грани христианства и беря грань социальную, я, митрополит Введенский, утверждаю, что Христос, призывая людей к человеческой жизни, на самом деле призывал к братству и равенству; что он не только призывал, но был величайшим активистом, т.е. готов был взяться за любое оружие, чтобы как можно скорее осуществить эту цель». Правда, таким оружием он считал легионы ангелов и другие не совсем весомые предметы, но, тем не менее, он хотел борьбы и в одном случае взял даже бич и хлестал им по физиономии каких-то мелких буржуа в «храме отца своего».

Мы спрашиваем, считает ли гр. Введенский для настоящего времени, в которое он живет, долгом каждого подлинного христианского активиста заявить, что действительно надо стремиться к установлению братства на земле, и марксистские пути к этому, пути революции и коммунистической реформы хозяйства, признать единственно правильными и для всякого христианина обязательными?

Если бы гр. Введенский это признал, то я сказал бы, что по первому пункту, по которому мы спорим сегодня, можно спор прекратить за согласием одной стороны с другой, а что рядом

с этим есть еще дополнительные пункты, дальнейшие христианские построения, о которых мы стали бы говорить завтра, но я боюсь, что мало кто из священников пойдет за гр. Введенским, если он сделает этот решительный шаг. Но я думаю, что он уклонится от этого под разными предлогами; может быть, найдет другой путь, который сведется опять-таки к легионам ангелов, к тому, что надо свою душу и души других укрощать. Все-таки, в конце концов, Христос сказал: «Я царь, только царство мое не от мира сего». И поэтому каждый раз можно всякого высокопочтенного христианина ловить на том, что он слишком близко подходит к воинствующему социализму и говорит: «да я же с вами»; а потом он говорит: «впрочем, я не от мира сего, для меня это не важно», и все падает и рушится. Гр. Введенский сказал, что мы, сами того не сознавая,—христиане. Мы, говорит он, не чувствуем, что мы дышим воздухом, также мы не чувствуем, что мы дышим христианством. Сравнение может быть и удачное, но для христианства убийственное. Если я дышу какой-нибудь истиной, то эта истина должна как-то отражаться на самом моем существе, она должна меня к чему-то обязывать. Но здесь, вероятно, есть люди здоровые, есть люди больные, есть, может быть, и чахоточные люди. Все они дышат воздухом; но одни остаются здоровыми, а другие больными и чахоточными. Если бы этот воздух был живительным, а не просто таким, который обеспечивает существование, был бы активной изменяюще-спасительной силой, тогда его нельзя было бы не замечать. Но в том-то и дело, что дышит христианством и неаполитанский вор, который перед грабежом молится Мадонне, дышит христианством и тот купчина, который ставит свечу за удачно сделанное дело, дышит христианством и папа Лев XIII, и патриарх не обновленской церкви, которую так недолюбливает гр. Введенский. Каждый борется с другим, один ненавидит другого — а воздух есть воздух. Сравнение явно неудачное. Конечно, гр. Введенский хотел сказать другое. Гр. Введенский хотел сказать, что как для жизни, какой бы то ни было жизни, хорошей или плохой, необходим воздух, так для моральной жизни, все равно хорошей или плохой, предпосылкой является христианство. Идея ложная, ибо христианство имеет всяких живоглотов, которые над этим христианством издеваются (не назовет же их христианами гр. Введенский); — за христианством огромная масса всяких религий, не совпадающих с христианством, за христианством огромная масса атеистов. Но тут есть зерно истины. Конечно, на христианской идеи реализуются широкие расплывчатые упования бедняков; они действительно всегда упирались в веру в грядущий золотой век, в век мира и счастья. А так как марксизм призван осуществить это счастье на земле, то и выходит, что он как-будто вытекает из этих христианских предпосылок. Но это в такой же мере верно, как и следующее рассуждение: «что же, аэроплан, разве это очень

большая заслуга Блерио? — Это его изобретение. — А разве в сказке не говорится о ковре-самолете?» — Конечно, говорится, но это вовсе не значит, что движение авиации является только простым учеником ковра-самолета, как это, очевидно, хотел доказать гр. Введенский.

Выводы такие: во взятой нами плоскости христианство противопоставить марксизму решительно ничего не может, и защитники его вынуждены ежеминутно возвращаться в область другого света. Об этом другом свете, об его достоинствах и недостатках мы будем говорить завтра, а если говорить об этом свете, то окажется, что лучшее достоинство христианства, с точки зрения живой реальности, заключается в том, что некоторые идеи христианства наломинают идеи марксизма, но представлены в виде неосуществимом и нереальном. На осуществление их не было надежды, они и не были осуществлены в христианстве, и эти самые ценности, которые гр. Введенский считает самыми высокими ценностями, нашли свою реальную почву и практическое применение в марксизме. Но я ведь так и говорил: «Время христианство подхолило к утопическому, мечтательному предвосхищению идеала». Христианство не могло служить настоящим, реальным путем. Если я говорил, что христианский социалист — митрополит Введенский хочет нам противопоставить такое социальное учение, в которое социализм и христианство входят какими-то общими ингредиентами, то чем меньше будет там христианства, тем лучше. Если бы гр. Введенский на легион ангелов не рассчитывал, если бы он считал, что, кроме слов, нужно употреблять не только бич, но и меч, где это нужно, — он отошел бы от христианства настолько, что были бы правы те христиане, которые и сейчас называют его еретиком, — а тогда бы сугубо его так назвали. В таком случае он был бы таким христианином, который только одной ниточкой привязан к христианству, а практически уже вошел в здоровый социализм. Может-быть, этого никогда и не будет. Пожалуй, я бы не сказал, что гр. Введенский является таким верблюдом, который не может войти в наше царство. Этот верблюд нагружен своими религиозными сокровищами и с такими большими тюками своей мистики не проберется к нам. Если же гр. Введенский эти сокровища сбросит, тогда он войдет. Он и сбросит их завтра, но только для того, чтобы раскупорить свои товары и прельстить вас всеми цветами своего, как он думает, великого миросозерцания. Мы же будем эти материи щупать и оценивать по достоинству. (Смех, аплодисменты.)

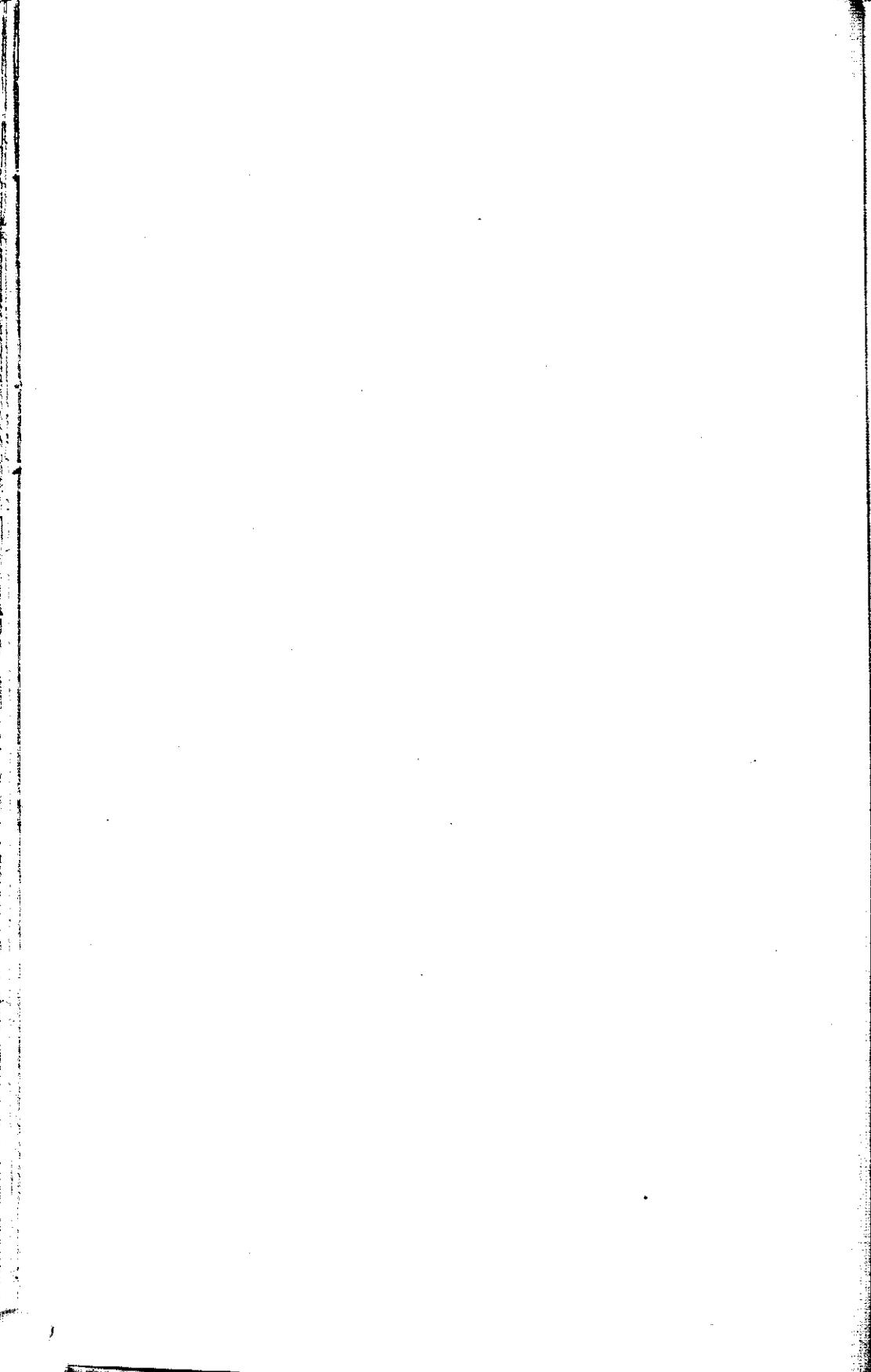
Теперь одно слово скажу по поводу выступления симпатичнейшего сектанта Гуляева, который заслужил шумные аплодисменты. Мне очень жалко, что в этом человеке, который, повидимому, обладает большой физической силой и духовной энергией, наблюдается такая усталость. Он говорит: «Дайте

нам покой». Я говорю: «Не ладим и не хотим давать вам покоя». Мы здесь для того, чтобы будить мысль и энергию, звать на борьбу, которая только еще началась. Он говорит: «Христос дает покой, а вы нет», мы можем ему ответить: «Усыпительные средства тоже дают сон, а мы нет». Но вы неправы, что Христос дает покой. Недаром этот легендарный герой говорит: «Не мир принес я вам, а меч». Разве христианство создало какой-нибудь прочный мир, разве вся история христианства не есть история споров, петушиных боев и т. д. Все это делалось во имя Христа. Мы же прямо говорим: «Да, мы зовем вас к борьбе, но утверждаем, что зовем к борьбе, вызываемой условиями капитализма». Вокруг нас пролетариат, способный организоваться; он сильнее своего врага, и поэтому мы утверждаем: «мы находимся у ворот царства правды, но эти ворота берутся не только силою духовной правды, моральной правды, но и боевыми физическими силами. Поскольку не будет боевой постановки, мы этого царства не осуществим. Мы его осуществим только для того, чтобы человеческий дух был более крылатым и стремился к дальнейшему усовершенствованию». В этом смысле наше учение является величайшим практическим социализмом, хотя он заключен целиком в рамки научного материализма. Об этом мы будем говорить в следующий раз и приглашаем вас на завтрашний день.

II.

ИДЕАЛИЗМ  
или  
МАТЕРИАЛИЗМ

ДИСПУТ  
21 сентября 1925 г.



## Доклад А. В. Луначарского.

Товарищи и граждане, вчерашний вечер мы посвятили дискуссии по вопросу о социальных устремлениях христианства и марксизма, сегодня мы коснемся философских сторон обоих этих учений. Несомненно, что вчера наша дискуссия представляла известный интерес; доказательством этого служит хотя бы тот факт, что Ленгиз просил моего и гражданина Введенского согласия на издание этой дискуссии в виде отдельной книжки. Тем не менее, было бы большим заблуждением полагать, что мы, участники этой дискуссии, полагаем, что совокупность содержания христианского и марксистского отношения к социальным вопросам или разногласия между этими учениями были нами вчера исчерпаны. Тема эта, в высокой степени богатая и широкая, могла бы быть исчерпана разве только в целом ряде подобных дискуссий. Это относится еще в большей мере к философской стороне вопроса. Мы сможем сегодня, не впервые уже встречаясь с гр. Введенским перед многочисленной аудиторией, остановиться только на некоторых пунктах обоих миросозерцаний, которые каждый из нас считает наиболее важными.

В этом моем недлинном предварительном докладе я хочу остановиться на одной центральной идее, которая кажется мне решающей и на которую я хочу обратить ваше особое внимание,— именно на вопросе о том, существует ли только один, опытный мир, в котором мы живем, работаем, страдаем, побеждаем и умираем, или же рядом с ним существует еще какой-то сверхчувственный, незримый мир, который мы должны принимать в расчет, когда распределяем наши силы, когда устанавливаем основные линии нашей жизни, нашего поведения.

В нормальном опыте нормального человека решительно ничто не говорит за существование, помимо реального мира, еще какого-то второго — «того света». Если бы это было не так, то этот «тот свет» и не назывался бы «тем светом». Тогда и в учениях о боже, о потустороннем царстве божьем, которое «не от мира сего», тогда и в учении о загробной жизни не проводилась бы

грань между этим миром и другим миром. Между тем, и оппонент мой, конечно, не будет этого отрицать, грань эта беспрестанно проводится, и в этом-то и заключается особенность всякого рода мистических или идеалистических представлений. Мир опыта замкнут в себе, и чем больше человечество путем науки рассматривает строение этого мира, законы, в нем господствующие, тем больше крепнет представление об его необъятности пространственной и качественной огромности, но вместе с тем и о его единстве, о его принципиальной познаваемости. Если мы еще не все в нем познали, если не все доступно нашим чувствам, то прогресс науки показывает, что все стороны вселенной соединены известной закономерной связью с током частью, которая познана, и круг нашего познания быстро растет и увеличивается; принципиально правильная наука не признает в мире ничего случайного, непознаваемого. Познается же все через опыт, которому часто предшествует догадка, гипотеза, теоретическое воззрение, которое мы не считаем полной истиной, пока рост нашего опыта, собирающей и экспериментирующей техники не позволяет нам подвести нужный фактический фундамент под то или другое наше научное построение.

Если это так, то спрашивается: какие причины, какие силы побудили человечество предположить существование рядом с опытным миром мира сверх-опытного, не только недоступного нашим чувствам, но и превосходящего силы нашего разумения, являющегося по существу миром подлинным, миром вечным, миром, в котором нет перемен и в котором бледной и бедной тенью является тот мир, в котором мы живем.

Первый мой вопрос: как могло возникнуть это представление?

Второй вопрос: почему оно существует до сих пор и почему люди высоко образованные, типа моего оппонента, могут до сих пор придерживаться такого воззрения, несмотря на свет науки, который пролит уже на эту сторону нашей культуры?

Историческое возникновение представления о потустороннем мире связывается как с ошибками нашего разумения, так и с особенностями нашего чувствования, складывающимися при столкновении с неприемлемой и болезненной для человека действительностью. Я сейчас объясню: основная опытная, логическая ошибка, которая лежит в основе предположения о потустороннем мире, есть древний, как мысль человека, анимизм.

Что такое анимизм и какова та ошибка, которая лежит в его основе? Конечно, абсолютно первобытный, животный человек вообще не распределяет своего опыта ни по каким категориям, и когда его мышление пробуждается под влиянием видоизменений среды, то оно получает толчки от таких явлений, которые касаются его сильно, непосредственно и практически. В этом опыте (в котором он находил такие явления, которыми и мы окру-

жены) имелось одно роковое, сильное, мучительное явление — явление преждевременной естественной смерти. Может быть, смерть насильственная — от удара, раны — не поставила бы перед первобытным умом никакой проблемы: слишком очевидно, что тут то единство, то тело, каким является человек, разрушено; но когда в опыте имеется смерть от болезни, тогда возникает жестокая проблема: кто убил этого человека и что значит, что он убит? Охранение своей жизни, чувство самосохранения есть могучее животное чувство, присущее человеку, и мысль человека, еще с младенчества, не могла не работать над этой проблемой. Он мог стараться защитить себя от копья или стрелы, но он чувствовал себя бессильным перед лицом болезни и смерти. Проблема болезни и смерти поставила сразу перед человеком факты незримого влияния — одно уже это чрезвычайно важно. Если первобытный человек чувствовал, что его что-то грызет, колет, или чувствовал другие болезненные ощущения, то он, следуя своей логике, предполагал, что кто-то непосредственно причиняет эти мучения; и раз он не видал, кто, — то должен был, само собою разумеется, чувствовать, что есть какой-то незримый враг. Мы знаем этого незримого врага; может быть, на девять десятых этот незримый враг есть микроорганизм, — но он этого знать не мог. Рядом с этим самое рассмотрение этого отрицательного факта — превращение живого человека в труп — наводило на ряд фатальных, роковых, нездешних, и в высокой степени неправильных представлений. Поразительно было, — это бросалось в глаза, — что труп теряет теплоту живого тела, что он теряет дыхание. Это теплое дыхание, которое согревает и дает жизнь, было поэтому совершенно естественно принято за то чувство человека, которое делает его живым. Если дыхание покинуло ноздри животного, если он «издох», если из него «вышел дух вон», то после этого он и есть простой материальный предмет, в котором нет больше активного движущего начала. Уж сама теория о том, что именно дыхание, которое мы чувствуем, как теплоту, как какой-то ток, хотя и незримый, но представляющий важную часть человека, — уже это имеет всемирно-историческое культурное значение. Первобытный ум из обеих предпосылок, — из факта болезней, незримые причины которых нельзя постигнуть, из тяжелых последствий их для человека, и из факта, что человек становится мертвым, когда незримый дух, дуновение покидает его, — из этого первобытный ум сделал умозаключение о двойственности мира. Постепенно из этого, сначала неясного материала, начала создаваться система, которую лепила социальная жизнь человека. Когда человеческое общество разделилось на классы, когда в нем возникли правительства, — то и мир духов потерпел соответственные изменения. Первоначально было представление, что души, которые вышли из тела умершего, продолжают существовать; они могут являться во сне, принимать какие-то полупрозрачные, зрячие формы и они являются силой, которая,

может, главным образом, злотворно, но иногда и благотворно действовать рядом с живыми существами.

Когда была открыта эта стихия мира духов, то естественно было, что все непонятное для человека, но имеющее для него большое значение — больший или меньший улов рыбы, охотничий успех, перемена погоды, — все это было отнесено именно к действию этих духов. Мир расщепился на тела, о которых создалось представление, будто без воодушевляющего их незримого духовного начала они были бы неподвижны — и на души этих вещей, на души умерших людей, переселившихся в вещи, словом, на духовную стихию, которая фактически движет реальным миром.

Если бы первобытный человек думал, что реальный мир движется в силу той энергии, которая в нем заложена и которая действует по совершенно определенному закону, то он мог бы побеждать эту материю, эту силу только при помощи знаний и техники. Он должен был бы изучить законы, которые господствуют в мире тел и сил и должен был бы придумать телесные и силовые методы, которыми он мог бы вмешиваться в ход событий и направлять их согласно своей воле. В настоящее время научно-техническая культура человечества к этому и пришла. Но дикарь представлял себе, что действие тел происходит не согласно их свойствам и не по каким-то заложенным в них законам, являющимся формулой их свойств и функций, а по воле духов, родственных ему, похожих на его собственные мысли, чувства и желания. Естественно поэтому, что в дикарском быту техника играет относительно второстепенную роль. При искалеченном, отравленном мифами, в корне неправильно выдуманном представлении о духах, человек полагает, что все зависит от душ, похожих на его собственное создание и имеет поэтому свои собственные меры воздействия на эти души: мольбу, убеждение, подарки и т. д. Молитвы и жертвы — это проявления магического восприятия мира. Если вы думаете, что в природе имеется какое-то огромное незримое ухо, могущее вас выслушать, какое-то огромное и незримое сознание, могущее откликнуться, то вы сможете молиться, вы сможете думать, что естественный ход событий будет чудесно изменен волей стоящего за ним духа, к которому вы обращаетесь, возглашая ваши прошения. Чем более в социальной жизни возвышались разные, в том числе и монархические, правительства, тем более оформлялось и отношение это к стоящим за кулисами мира духам, к их царствам, царям, к их всецарю — богу. Там, где социальный строй приобретал большую определенность, там и прошения нужно было подавать по форме, на определенном языке — на санскрите, латыни, церковно-славянском и т. д., которые были якобы доходчивее до бога; нужно было подавать их через специальных чиновников, — так называемое духовенство, — которое лучше знает как обращаться с богом и ангелами его, и поэтому представители его служат, так сказать, ходатаями

и представителями за простых людей, не близких к придворным сферам царства духов. Но если молитва даже и не имеет такого смешного, так сказать, бюрократического характера, который имеет она даже и в современном католицизме и в современном православии, если она даже приобретает в высочайшей степени утонченный и лирический характер,—для нас, реалистов, остается смешным явление «воздыmania рук» и «возвышения сердец» к природе, которая велика, могучая, неисчерпаема, но не человеко-подобна, у которой человек может вырвать уступки только трудом, знанием и борьбой.

Рядом с этим надо отметить, что первобытное миросозерцание вытекало еще из другого корня. Здесь дело не только в логической ошибке, не только в неправильном наблюдении физиологических явлений жизни и смерти, истолкования их, как расставания души с телом, как выход живой стихии из мертвотой стихии простого неодушевленного тела,— нет, дело имело еще и эмоциональный характер. В самом деле, уже с самого начала дикарь чувствовал, что причина явлений лежит не в самих явлениях, не в их связи, а в связи явлений с духом. Это выражалось иногда в самой грубой форме. Первоначальная мысль предполагала, что можно путем всяких жертв,—покормивши бога, угостивши бога,— добиться того, чтобы он изменил ход событий. Первобытные люди даже предполагали, что можно богу грозить или бога запугать, даже подвергнуть его какому-нибудь телесному наказанию и вырвать у него таким образом соответственное движение воли. Вы знаете, что дикари через шаманов угрожают богам и сами подчас довольно жестоко поступают с тем фетишем, которому молятся, думая, что таким образом они находят все-таки какой-то способ повлиять на потустороннюю волю. Все это примитивно, все это грубо, все это очень смешно, но не очень сильно отлично от молебствий нашего времени, приношений ладана и воска, или от других каких-нибудь, еще более утонченных ритуалов. Все это относится к одной и той же категории суеверий, неправильных представлений о потустороннем мире. Но они прочны, и они прочны потому, что вторым корнем их происхождения является чувство. В чем же дело?

Я сказал уже, что первобытный человек начинает думать, что сущность вещей определяющей силы лежит не в этом здимом мире, а в мире незримых духов, которые управляют здимым миром. Но каков этот здимый мир — удовлетворителен ли он?

Товарищи и граждане, человеческий организм представляет собой сложнейшее целое, самая структура которого предполагает определенные правила функционирования, жизни.

Если бы мы сказали: вот, перед нами нормальный организм человека — как определить его нормальные функции? — Его нормальные функции — это есть всесторонняя, совершенно удовлетворенная и могуче развивающаяся жизнь всех его органов. При таких условиях самочувствие этого организма должно

быть названо так: «счастье». Вот почему глубоко был прав Короленко, когда он высказал свой поразительный афоризм: «человек рожден для счастья, как птица для полета». Это нужно углубить — и птица и рыба созданы для счастья, потому что летать — это счастье; потому, что правильное функционирование крыла, руки, сердца, мозга — это и есть счастье. Когда весь наш организм живет полною жизнью, тогда мы чувствуем себя счастливыми, тогда не приходит в голову вопрос — для чего это и какой этому смысл; ибо счастье есть последний смысл, оно дает ощущение блаженства самоутверждающего бытия. И только тогда может возникнуть мысль о его хрупкости, если мы скажем: «а старость, а смерть?». Но и болезнь, и старость, и смерть, и всякое страдание — нищета, невежество, рабство, ревность и все что угодно — есть как-раз ограничение нормального функционирования организма. В том-то и дело, что организм наш поставлен в среду, не являющуюся для него идеальной. Правда, он может бороться с этой средой, он может при помощи великих актов труда видоизменить эту среду, подчинить себе эту среду, но это — сложнейший, трудный и еще до сих пор — многие тысячелетия! — незаконченный нами процесс. Вся жизнь отдельного человека и вся жизнь всего человечества представляет собою постоянную тенденцию организма к счастью, т.-е. к утверждению максимально счастливой жизни в среде, которая беспрестанно болезненно нарушает эту жизнь. Человек как бы натыкается на какие-то острые углы — нет достаточной пищи, нет необходимого количества тепла; кругом враги, которые рвут тебя на части, враги стихийные, звериные или человеческие. И строй природы, и строй общества таковы, что счастливых людей нет, и даже в том случае, когда мы имеем дело с царевичем Сидартха, он должен признать, что ему грозят вслед за счастливыми годами, такие беды, как старость и смерть. В силу этого, внутри каждой клетки нервной системы человека, каждого ганглия его мозга накапляются как бы отравляющие соки, выражающиеся в нашем сознании, как протест против зла мира, как критика мира, как зародыши, а впоследствии и развитые элементы пессимизма. Как же быть, как выйти из этого?

Если бы мысль человеческая с самого начала породила в человеке, благодаря его прозрению в будущее и широте охвата его опыта, чуждое животному критическое отношение к жизни, то он должен был бы этим быть отравлен и погублен; большая мудрость заключается в вавилонском мифе, отражение которого мы видим в библии, где говорится: «Познание добра и зла почти то же самое, что смерть». Жизнь без познания добра и зла идет от момента к моменту, она ничего не предвидит, она ничего не суммирует; она или погибает или утверждает себя. Но человеческая мысль широко схватывает явления, суммирует эти явления, и, суммируя, приходит к выводу, что человек является как бы изгнаником в этом мире и что потребности его орга-

низма, его жажда счастья не находят себе удовлетворения в этом мире. Получается чувственное, эмоциональное противопоставление человеческих желаний окружающей человека реальности, и, как я уже сказал, если бы это сознание было безысходно, если бы человек должен был сказать «я родился на свет, как разумная и чувствующая индивидуальность в то время, как свет этот создан так, что мой разум наводит меня на самые мрачные мысли, а мое чувство является основой для страданий; но если это так, то лучше бы мне совсем не существовать», — то человек, последователь пессимизма, не мог бы не делать такой вывод: «Самый счастливый человек тот, который вовсе не родился, а за ним следует тот, который как можно раньше умер». Это есть полное жизнеотрижение. Если бы это жизнеотрижение сделалось активной доминирующей частью человеческого сознания, то оно было бы убийственно для человека, и те общества или те классы, которые стояли на пути этого мудрого пессимизма, умножая познание скорби и умножая эту скорбь до беспредельности, обязательно должны были быть отравлены. И вот тут тот религиозный предрассудок, то заблуждение мысли, которое я определил как анимизм, является в высокой степени спасительным, ибо человек мог сказать: «Да, этот мир не таков, каким я его хочу, но тот мир таков, каким я его хочу»; поэтому первое эмоциональное основание двух миров, вследствие которого человечество ухватилось за теорию другого мира, было таково: «этот мир для меня неприспособлен, и я хочу надеяться, я твердо верю, что есть другой мир, в котором законы справедливости будут восстановлены, другой мир, — мир блаженства».

Но, как вы знаете, другой мир вовсе не есть мир блаженства, другой мир вовсе не есть только рай: он есть рай и ад. Каким образом человек пришел к мысли, что толкнуло его на поступление на том свете не только рая, но и ада? Его толкнула на это злоба, которую, если хотите, можно назвать святой злобой. Источниками горя человеческого и его страданий часто были другие люди, и когда другой человек является источником страданий, то он характеризуется как преступник, как грешник, как дурной человек. На этом свете преступники, грешники, дурные люди часто имеют власть, богатство и, насытившись деньгами, исполнив все требуемые божеством обряды, отходят к праотцам своим.

Поэтому мысль человеческая должна была задаться вопросом: почему же незлобивый и праведный может оказаться до конца дней своих мучеником и умереть в страданиях, а гордый грешник может пройти свой путь в славе и кончить жизнь спокойно, с торжествующей улыбкой на устах?

Вот эта жажда справедливости — перед лицом человеческой злобы, гордости и борьбы людей друг с другом — привела к тому, что разные человеческие классы, от правительства до рабов,

установили особый закон справедливости, говоря себе: мир, который я принял бы, был бы миром воздаяния, но так как мы воздать не можем, то будем внимать тому классу, который говорит нам: «Мне отмщение, и аз воздам».

Таким образом идеал справедливости весьма разнообразен, потому что в ад отправляют за различные грехи. Но это дало возможность каждому классу, каждой группе и каждой личности говорить себе, что нарушение справедливости в этом мире восстановится в другом справедливом мире.

Я сказал уже вам, что потребность в этом мире стала невероятно большой. Согласитесь: если возьмем какую-нибудь 80-летнюю старушку, которая в течение всей своей жизни служила, обслуживала живущих роскошно помещиков, несла какие-нибудь небывалые тягости, скажем, крепостного права, но, которая, вместе с тем, по пятницам и средам постилась, ходила в церковь, ставила свечки,—она совершенно убеждена, что ее ожидает на том свете рай, что она создала себе значительный вклад в небесный банк своими поступками, что она собрала себе «сокровища на небеси», что у нее там громадный капитал, который ей возвратится. Если к такой старушке придет кто-нибудь и скажет: «пустое, старушка, никакого банка на небесах нет, и все твои сбережения — чистейшие пустяки: ни бога, ни ангелов, ни рая нет», — каково ей услышать, что даже утешиться ей нечем, что не сбудутся ее надежды на то, что помещик, эксплуатировавший ее, будет лизать на том свете горячую сковороду? Безусловно, такая старушка пошлет вас к черту, вытолкнет прочь, даже, может быть, ударит вас своим старческим кулаком и скажет: зачем ты пришел, бес этакий, меня смущать!

Так и наши идеалисты. Воспитанный в мире, который не может быть молодым, который отравлен старыми соками, идеалист тоже полагает, что его счастье в потусторонней жизни. Он крепко держится за старый миф о том, что жизнь не является отправлением человеческих функций, а что существует бессмертная душа. Весьма понятно, что он будет всеми силами сопротивляться, чтобы у него не были отняты эта идея бессмертия и представление о потустороннем мире.

Между тем, мы — реалисты обязаны именно отнимать от таких идеалистов веру в этот потусторонний мир, потому что мы знаем, что это обман, ошибочное представление, самоутешение, возникшее в века варварства; потому что мы твердо понимаем, что на самом деле никаких надежд нет, а на этих надеждах, спекулируя на них, устанавливают свое право на эксплуатацию «господа мира сего», обманывая тем, что на том свете явления справедливости отводят злобу человеческую, гнев человеческий, любовь человеческую в бесплодное русло, которое потом отходит в пустоту.

И перед таким зрелищем мы можем только содрогаться, и каждый должен чувствовать себя преступником, если не при-

ложил всю свою волю и силу, чтобы раскрыть людям глаза. Но мне скажут: «истина, на которую вы раскрываете людям глаза, — горька».

Нет, это неверно — новый мир, молодой мир, мир КСМ, который теперь особенно ярко перед нами живет и развертывается, — он не нуждается в этом, он это отбрасывает, ибо самая сущность эмоциональной прочности этих предрассудков заключается в том, что человек не верил в возможность построения счастья на земле. Он был для этого слишком слаб, слишком мало знал силы природы и был слишком беспомощен технически. Мы находимся в том периоде человеческой истории, когда начинает укрепляться сознание, что наш организм с его жаждой счастья становится сильнее природы. Мы еще далеко не победили природу, но обскурант тот, кто из трусости, невежества или корысти держится за старое миросозерцание и говорит: «ты еще не победил», а человек, у которого утренне открыты глаза на новые надежды, говорит: «я не победил, но я побеждаю».

Если бы наука и техника имели перед собою только перспективу развития при том же общественном строе, который существует сейчас, то можно было бы усомниться в том, будут ли плоды этой техники и науки доступны и благотворны для всего человечества. Но марксизм и коммунизм, есть не только такой материализм, который возвращает человека к действительности и не обескураживает его, не лишает мужества и желания победить природу, надежд на победу, но он, кроме того, есть учение о такой реальной перестройке существующего порядка, при которой теория и наука перестают быть слугами и рабами избранных, а становятся волшебными слугами человечества и приобретают поэтому тысячекратную мощь; — вот в чем заключается разница между материализмом и идеализмом.

Мой оппонент в своей речи почти наверное будет говорить весьма высокие слова о том, какая прекрасная вещь бессмертие, вечность, полет к богу, стремление к абсолютизму; но все это значит, что в то время, когда человечество надеялось на эту сверхнебесную дачу, оно всеми фантазиями и всеми лучшими мыслями, которыми располагало, украсило эту сверхнебесную дачу; но, так как эта дача представляет собою миф и пух, то все эти украшения остаются чисто словесными тирадами, и чем они сильнее, тем сильнее в них сила обмана, которая заставляет полагаться и уповать на нереальное, несуществующее, — на древнюю, но хрупкую сказку. Мой оппонент, может-быть, будет также ссылаться на многочисленных ученых людей, которым ученость не мешает надеяться на господа бога и на пути его, но такое возражение я заранее отвожу и заявляю, что ученые не всегда являются законченными учеными. Можно быть великолепным физиологом или минералогом, но, вместе с тем, совершенно никуда негодным историком религии или общественности.

Эти ученые — буржуазные ученые и, кроме того, буржуазные интеллигенты.

Я касаюсь последнего пункта моей речи: для индивидуалистов, которых экономика, хозяйство ставят в индивидуалистическое положение хозяинчика, ремесленника (а общество интеллигентов находится в пленах у своего личного эгоизма), личность является одновременно и мучительным одиночным заключением и предметом их гордости и забот.

Философ Мах рассказывал, что эскимос, которому миссионер обещал бессмертие на том свете, спрашивал, будут ли бессмертны также души его собак и саней; а когда миссионер отвечал, что нет, что собаки и сани умрут, он сказал: без них я не хочу и бессмертия.

Бессмертие личности — это вещь, с которой человек носится, как с писаной торбой и дальше которой никуда не идет; в нем и есть предел всех его горизонтов.

Но, когда человек освобождается от частной собственности, он перестает чувствовать себя прежде всего «я». Тогда центром его мировоззрения становится великое, ослепительное «мы» с его реальным мучительным прошлым и постепенный подъем от животного состояния к той заре, царству справедливости, который мы сейчас переживаем. Тогда он чувствует, что он продолжается и в окружающем, и в детях, и во внуках, тогда он становится историческим человеком, тогда он впервые становится человеком вообще, а не Павлом Павловичем и Марией Ивановой. Тогда, ставя вопрос о своем бессмертии, он спрашивает не о собаках и санях, т.-е. о своих собственных индивидуальных особенностях, о своей, так называемой, личности, он спрашивает — будет ли та мысль, которой он служил, будет ли та красота, которую он искал, и та справедливость, которой он служил, развиваться дальше, до необозримых пределов, одерживая новые и новые победы и устанавливая все новые и новые гармонии. И, в глубоком сознании, что он вечен только теми вкладами своей личности, которые он внес в общий поток человеческого бытия, он не боится ни жертв, ни страданий, ни смерти. Ибо знает, что тот дух, если позволительно этим старым словом на минуту обозначить коллективный порыв человечества, тот дух, которому он служит, воистину вечен.

Таково наше мировоззрение, и мы, не боясь лишить кого-нибудь его счастья, говорим: оставьте ваши ветхие, неогненупорные лачужки; кто совершенно невежествен, того не грызет бес сомнения; но те из вас, кто, мало-мальски, живет умственной жизнью и вместе с Толстым и многими святыми мужами, от времени до времени, с холодным потом, спрашивают себя: «а если его нет, что тогда?».

Это момент пробуждения, во время которого их трагически поражает их же ошибка; ибо, если его нет, — а его нет, —

в таком случае их жизнь представляет собой не только бессмыслицу, но и преступное отравление окружающих.

Мы же твердо стоим на том, что нам говорит опыт, мы не обещаем даром никакого рая, но мы заявляем: царство справедливости, царство счастья может быть основано людьми путем согласования их сил в труде и борьбе. (*Шумные рукоплескания.*)

### Ответное слово А. И. Введенского.

Маленькая техническая справка. Я получил ряд записок вчера и сегодня относительно того, почему я не возразил на то, что вчера в заключительном слове сказал Анатолий Васильевич. Дело в том, что настоящий диспут, насколько мне известно, устраиваемый Ленинградским Политпросветом, от которого я и получил приглашение здесь выступить,—этот диспут организован как доклад Анатолия Васильевича Луначарского, оппонентом которого я являюсь, и, как оппонент, я не имею слова после слова докладчика. Вот почему я не возражал Анатолию Васильевичу вчера. Это не значило, конечно, что мне нечего было возразить ему вчера, но это, мне кажется, несмотря на многочисленные просьбы, обращенные ко мне, не обязывает меня сегодня возвращаться к вчерашнему дню, не говоря уже о том, что я ограничен предоставленными мне 50—60 минутами, так как у нас диспут сегодня должен ити в жестких рамках, благодаря отъезду Анатолия Васильевича. Я не возвращаюсь к вчерашнему дню, — пусть никто не рассердится, — потому что вчера я ведь не получил и достаточного материала для возражения. Анатолию Васильевичу захотелось в шутливом тоне дать мне несколько сравнений — от апостола Петра, ниже которого я оказался, до верблюда, с которым я вполне был адекватизирован. Но, граждане, мне представляется, что такая зоологическая острота так же мало меня задевает, как украшает того, кто ее употребляет. (*Аплодисменты.*) Вот почему я считаю, что вчерашнее заключительное слово Анатолия Васильевича, это возражение, — употребляя музыкальный термин, — в стиле *«аллегретто»*, которое я, пожалуй, и оставлю сегодня без внимания, тем более, что сегодняшнее торжественное *«санданте маэстозо»*, с которым выступил Анатолий Васильевич, обязывает меня к серьезному же, насколько могу, — я ведь человек пропавший, ношу рясу, — ответу.

Граждане, здесь представителем материализма было поставлено в упор соображение, что представители идеализма, сознательно или бессознательно, являются элементом, разлагающим общественность. Созданная иллюзия несуществующего бога, все эти крахи небесно-финансовых предприятий в метафизических глубинах, все это показывает, что с точки зрения коммер-

ческой, — хотя мы финансисты скверные, — тем, кто хочет безусловно коммерчески хорошо прожить жизнь, с нами не по дороге.

Граждане, мне представляется, что, несмотря, может быть, на широкую понятность такого лозунга — «выгоднее быть здесь с банками, чем надеяться на те банки, или вообще уничтожить банки, но поделить то, что сейчас сосредоточено в банках», — несмотря на то, что этот лозунг весьма широк и весьма популярен, хотя бы в тех же комсомольских кругах, о которых Анатолий Васильевич говорил, как о новой расе, о новом достижении человеческого гения, — несмотря на это, мне думается, что во всей концепции, во всем построении уважаемого Анатолия Васильевича есть существенное недоразумение. В самом деле, гражданин, те предварительные отводы, которые делал Анатолий Васильевич перед моей речью (он будет говорить об иллюзиях, взвывать к абсолюту и ссылаться на науку), они не так, может быть, весомы, как это казалось Анатолию Васильевичу. Наука, ученые признают бога. Факт этот представляется в высокой степени все же неприятным для атеиста, потому что выдающиеся представители науки до сих пор открыто говорят о своем исповедовании бога. Ведь в наши дни Пастер сказал, что, работая в своей лаборатории, он молится, потому что, по мере накопления его ученого опыта, у него вера растет. «И если, говорит Пастер, я верю сейчас как бретонец, в будущем, по мере накопления моего опыта, я буду верить как бретонка». Весь мир был свидетелем того, как профессор Моди здесь, в красном Ленинграде, обратился к богу с призывом благословить и Ленинград и Академию Наук. Это не было только субъективное настроение престарелого старца, как мне возражают на это. Не всегда юношеский задор искупаает все прочее, и старость сама по себе едва ли уж вешь такая неприятная. Нет. Мы должны прежде всего, конечно, вполне определенно констатировать тот факт, что целый ряд выдающихся ученых разных стран и разных национальностей до сих пор исповедуют духовный мир. Тот же Планк, который был здесь, на празднике Академии, в некоторых своих работах по физике совершенно определенно говорит, что современное развитие физики не только не должно устранить духовное миропонимание, а, наоборот, — укрепить духовное миропонимание. Эти факты остаются фактами — упрямыми и неприятными для атеиста, и, следовательно, их надо отвести — и делается привычный отвод: да ведь это ученые-то буржуазные. Граждане, ученые бывают всякие — буржуазные и пролетарские, и в наши дни, когда перед всем миром спрашивается престольный праздник науки в СССР (а он был престольным, хотя не была совершена внешняя литургия, ибо внутренне многие выдающиеся ученые, посетившие вас, творят богу литургию своей веры), вот мне представляется, что в наши-то дни пора бросить эту клевету.

на науку, которая, увы, свивает себе привычное гнездо на нашей родине, клевету, что наука классова. Я знаю, что бывают отдельные дисциплины в науке, несомненно классовые, бывает пролетарская политическая экономия и буржуазная политическая экономия, пролетарский подход к обсуждению исторических моментов и буржуазный. Это бесспорная истина. Но, граждане, есть то, что мы привыкли называть чистой наукой, и в области чистой науки я не знаю, найдете ли вы классовый признак. Возьму простой пример, грубейший, элементарнейший пример, но точный. Дважды два для революционера четыре, а для контрреволюционера это сколько? — Тоже четыре. В мире чисел, в мире звезд, в мире атомов, к счастью или к несчастью, нет классовой борьбы, нет классовых признаков, поэтому и наука, изучающая мир как данность, есть та наука, которую мы в первую голову и называем точной наукой. Эта наука бесклассовая. Поэтому сделать отвод, если выдающиеся представители точного знания оказываются и людьми религиозного мировоззрения, упрекнув, что это буржуазные ученые, это не серьезно. Можно, пожалуй, напомнить, что бывают ученые разного происхождения. Я напомню, что Фарадей, человек не нуждающийся в рекомендации, гениальный физик, был слесарем по происхождению, что не мешало ему быть достаточно религиозным. Я не буду углублять этот момент из-за недостатка времени. Несомненно Анатолий Васильевич постараётся сделать мне ряд отводов, которые я предвижу, все же я бросаю эту сторону, как имеющую побочное значение, еще раз подчеркивая, что наука как таковая, ее представители как таковые, до сих пор остаются в значительном своем проценте и там, за рубежом, и — я определенно утверждаю — здесь, в Советском Союзе, людьми, сумевшими во внутреннем своем опыте примирить и лояльное отношение к революции и научный опыт с религиозным мировоззрением. В чем секрет? Ведь как будто бы это является невозможным? Мы остановимся на той коротенькой эскизной истории происхождения религии, которую привел нам Анатолий Васильевич. Первобытное дикарство, человек не умел ориентироваться и насаждал всяких духов и привидений, создал для них загробные виллы и котеджи. Так было представлено развитие религии. Да ведь это старо. Я напомню Анатолию Васильевичу работу известного Иенского ученого Шмидта, «Ursprung d. Gottesidee», в которой автор, вовсе не одинокий, разбирая эту старую анимистическую теорию, абсолютно, конечно, не связанную с марксизмом иначе, как только механически, совершенно определенно, базируясь на громадном количестве документов и данных истории, указывает, что первичным религиозным мировоззрением был чистейший монотеизм и не от анимизма, от низшей ступени религии, человек дошел до идеи единого бога, а, наоборот, уже в первых истоках своей мысли человек имел познание, что есть единый центр мира — бог. Я, конечно, напомню вам, что

Шмидт не открывает Америки, а лишь подтверждает старое, но не устаревшее утверждение великого филолога Макса Мюллера, который утверждал, что изучение корней терминов о боже указывает, что нами на нашей прародине бог мыслился как единая субстанция. И так называемый политеизм является вырождением здорового и нормального понятия о боже, как едином.

Таким образом, нельзя в наши дни, или забывая, или не считаясь с работами людей типа профессора Шмидта, утверждать, что религия родилась путем эволюции человеческого сознания, что религия родилась там, где еще не играл, не освещал яркий луч трезвого отношения к бытию.

Граждане, происхождение религии значительно глубже, чем это иногда кажется атеисту. Мне представляется, что антирелигиозная пропаганда потому у нас, в Советском Союзе, так слаба (это не парадокс, я докажу), что антирелигиозник борется (я говорю о рядовом антирелигиознике и о рядовой антирелигиозной литературе) не с религией по ее существу, не с религией в ее глубине. Из моря религии берут воду черпалами, измеряют море религии лотами своей сообразительности. И выходит, что море мелкое, дно близко. На самом же деле океан религии беспределен, и до дна его атеист не достал, потому что его мерило, его черпало, его лот имеет слишком коротенькую рукоятку.

Я заметил, что в громадном большинстве случаев лучшие антирелигиозники создают свое понимание религии и потом победоносно его разрушают. Мне кажется, что такая борьба с ветряными мельницами своего воображения о религии Христа давно нашла свою квалификацию в бессмертном произведении Сервантеса. В самом деле, если подойти к религии в ее настоящей глубине, тогда все те соображения, которые вам кажутся наиболее убивающими религию, покажут, что у вас неверно взят прицел: вы метите в ноги, в руки религии и не замечаете, где у религии бьется ее сердце.

Вот почему религия жива и будет жить.

Граждане, Анатолий Васильевич — большой знаток религиозных проблем, я бы сказал, самый большой антирелигиозник в нашем Союзе, но Анатолий Васильевич лишь отчасти подошел к истине и лишь скользнул по ней: он говорил о чувстве, которое и является базисом веры. Подход его был правилен, но неправильна была квалификация этого чувства. Оно было здесь перед нами, это наше религиозное чувство, религиозный сенсуализм, представлено, как известное коммерческое соображение: «жадность, не удалось упиться бытием здесь, там будет реванш». Конечно, Анатолий Васильевич и другие лица, разделяющие оппозицию, могут привести громадное количество материала относительно того, что старушка, прачка и т. п., долго работавшие на господ, действительно имеют такую психология.

Так, это — факт, но ведь о каждом явлении, в том числе и религиозном, нужно судить не по его низам, а, если возможно, по его верхам, — я добавлю, чтобы не было недоразумений в заключительном слове, что я ни в коем случае не ставлю себя в религиозные верхи — а считал бы, что значительно выигрышнее вообще спорить об идеях, нежели о носителях этих идей, которые ту или иную идею представляют, это — научнее, поэтому я заранее оговариваюсь, что не претендую на второго апостола Петра, как хотели меня нарисовать вчера, — но все же, граждане, я категорически утверждаю, что старушка, надеявшаяся, что там, в небесной сберкассе, она получит по истрапанной жизненной книжке проценты, — эта старушка принадлежит к низам религиозного сознания; это была не религия. И, убивая своим ружьем критики эту старушку с ее действительным суеверием, вы сердце религии не затрагиваете, потому что основой религиозного постижения действительно является чувство, но не чувство меркантильное, коммерческое, не чувство расчета. Иоанн Златоуст говорил о Христе и о бессмертии так: в евангелии сказано, что вечная жизнь ожидает того, кто любит Христа, но если бы мы, говорит Златоуст, знали, что за веру в Христа нас ожидает геенна огненная, бесконечная, мы должны были бы любить его нисколько не меньше. Вот в этой фразе вселенского учителя религии вы, при самых тщательных поисках, при самом финансовом ультра-микроскопе не найдете момента сберегательной кассы. Здесь иная психология, здесь иной подход; и действительно основой религии является не чувство страха перед богом, а чувство любви к богу. Подобно тому, как музыканта прельщает красота музыки и, он завороженный красотою музыки, отдает ей всю свою жизнь, теряя подчас трагедию экономики (разве мы не знаем выдающихся композиторов, умиравших в жесточайшей экономической бедности?), но эта любовь к музыке — привожу этот пример для атеистов — разрушает в нем страх экономической несостоятельности. Может быть, ему было бы выгоднее торговать или заниматься чем-нибудь иным, приятнее, комфортабельнее, но нет — умирает от недоедания музыкальный гений. Музыка прельстила его красотой; музыка полюбилась ему, музыка стала для него больше экономики — экономика преодолена, экономика умерщвлена любовью к красоте музыки. Аналогична религия: религия так называемых верующих, а точнее — знающих бога, завораживает с неменьшей силой, чем музыканта его волшебная царица, эта красота бога, несущаяся, льющаяся из чертогов религии, из духовного храма веры. Она настолько пленяет, что человек согласен учиться в геенне всегда, подобно Златоусту, лишь бы не отойти от Христа, лишь бы не отойти от бога. Вот почему Христос, говоря о своем учении, сказал, что оно подобно жемчужине, ради которой, если купец найдет ее, все продаст, чтобы ее приобрести.

Граждане, может возникать спор о том, что такая религиозная ощущаемость, такое религиозное мироощущение ошибочно. Но бывает ли ошибочно ощущение? Можно ли сказать, что ощущение красоты музыки Бетховена ошибочно, что ощущение красоты Стравинского — сегодня я просматривал его последнюю парижскую сонату — ошибочно? Категория ошибочности приложима ли к понятию той психической реальности, той психологической эмоции, которую данный человек переживает? Скажите мне, что ошибочно то счастье, когда ласкаешь своего ребенка; если этот мальчик для вас ничто, то для отца он лучшая частица его жизни, и этот мальчик, который вам не принесет ничего, отцу дает радость. Будете ли вы в праве сказать: твоя психология ошибочна, это обыкновенный мальчик, которых сотни и тысячи?

Поэтому вообще всякий ваш суд над нами (атеистов над религиозниками) в том смысле, что у вас есть безошибочная психология, а у нас ошибочная, — этот спор основан на психологическом недоразумении.

Раз существует определенный религиозный опыт, который для лица, им обладающего, не менее несомненный, не менее реальный, чем опыт физический, а часто в своей интенсивности, в своей захватывающей, в своей сверх-реальности еще более faktichnyy, чем так называемый, внешний опыт, граждане, если это есть факт, то ваши суждения о том, что религия умирает, так ли уж верны?

Я не спорю, что религия в наши дни, может быть, для очень многих не стоит в центре внимания. Я не спорю, что в наши дни развертывающаяся классовая борьба, красивая и увлекательная сама по себе, настолько захватывает отдельные личности, что им как-будто бы некогда, не стоит и не надо думать о боже. Несмотря на это, я все же утверждаю, что и современный, как будто бы торжествующий атеизм на самом деле является вовсе не победой неверия. Я определенно утверждаю, что религия может быть оттеснена — это ваша воля, вы свободны — на задний план вашего сознания. Мы можем даже хранить ее в погребах подсознания и ставить римскую стражу, да не воскреснет религиозное чувство, но религиозное чувство неистребимо. Я беседовал неделю назад в Ялте с одним выдающимся терапевтом. Этот маститый ученый считает себя атеистом и однако он обронил фразу: «Я считаю, что атеизм есть тоже религия». Как это ни парадоксально, граждане, но это так. Ученые много-кратно пытались провести резкую грань между сознанием человека и между сознанием животного. Я не буду вступать в спор, произошел ли человек от животного или нет. Если иногда мне утверждают, что я или другой гражданин произошел от обезьяны, я не спорю, потому что каждому лучше известны его родственники. (Аплодисменты.) Но, несомненно, между психологией человека и между психологией животного существует что-то общее. Вот

Почему человек давно хотел найти нечто специфически человеческое, то, чего нет у животного. Граждане, вы знаете эти немногочисленные, но серьезные попытки. Прежде всего ведь человек о себе говорит в учебниках зоологии, что он *homo sapiens*; — мы умны, разумны. Но, граждане, после работ Бундта по сравнительной психологии человека и животных, после работ русского врача Паргамина о животных, разве мы имеем право сказать, что между нами и животными в области интеллекта существует качественное различие? Конечно, только количественное. Животное думает, животное силлогизирует; мы только это делаем ловчее, у нас аппарат гибче, у нас клавиатура интеллекта имеет больше октав, чем у животного. Итак, разум есть и у животного. Тогда нам говорят, что у нас есть совесть, что животное не имеет нравственности, этики. Но, граждане, возьмите очень серьезную работу Сутерланда, известного австралийского ученого, о происхождении инстинкта нравственности у животного и у человека. Достаточно будет вам ознакомиться с ее содержанием, чтобы у вас была такая же психика в известном отношении как у меня: когда я слышу, что такой-то человек сделал невероятную подлость, и ему говорят «какое животное», то я обижаюсь за животное, потому что животное не может часто сделать такой безнравственности, какую делает человек. У животного нравственность поднимается подчас до героических моментов. Животное способно на самоубийство от тоски. Поразительный факт есть у Паргамина. Следовательно мир этики есть и у животных. Граждане, тогда вы, может-быть, вспомните старинные слова Аристотеля, что человек есть «зоон политикон» — животное общественное. Общественные проблемы нас захватывают. Но разве общественности нет в мире животном? Граждане, разве муравьи давным-давно не разрешили в своих муравейниках все социально-муравьиные взаимоотношения? А пчелы разве не создали в своем улье идеальную пчелинную коммуну? А между тем наш муравейник все еще строится, и муравьи человечества до сих пор не хотят согласиться, по какому плану строить муравейник — борьба классов. Итак, если они общественны, если у них больше нашего общественный прогресс, следовательно, что же нас отделяет от них? Выходит как-будто бы, что Введенский доказывает, что животное и человек равны. Нет, я, по крайней мере, — человек и от животного не происходит и я знаю, что отделяет меня от мира животного — это религиозное чувство. Религиозного чувства у животных нет. Самые тщательные и напряженные попытки ученых найти у животных религиозное чувство кончились крахом. На заре XX столетия один итальянский социолог опубликовал замечательное открытие — он нашел религиозное чувство у змеи. Потом оказалось, что религиозного чувства у змеи нет. Подобную же мысль вы можете найти у Максима Максимовича Ковалевского — он также говорит, что религиозного чувства у животных нет. Религиозное чувство является специфически

человеческим. Религиозное чувство — эта та грань, которая отделяет человеческое сознание в широчайшем смысле этого слова от сознания дочеловеческого. Граждане, если я позволю себе проанализировать сущность религиозного чувства, — вам станет понятно, — если даже вы будете стоять на эволюционной точке зрения, — почему религиозное чувство имеется только у человека. Несомненно, наиболее характерной чертой психологии животного является его разрозненное восприятие жизни. Животное живет физиологическими моментами, и все внимание животного обычно сосредоточивается на определенных физиологических моментах. Животное бежит за птицей, ловит ее, если это кошка, птица ловит червяка, — надо насытить свой аппетит, — животное играет в период любви, животное движется только физиологическими факторами и поэтому животное и мир воспринимает как известную сумму физиологических пятен, как известное механическое объединение вот этих пятен в некую единую суммарную и смутную картину, которая, очевидно, постоянно, подобно кино-фильму, проходит перед сознанием животного. Человек способен воспринимать мир не только физиологически разорванно (мы тоже животные, но мы не только животные), человек способен воспринимать мир путем синтеза. Религия есть прежде всего синтез, религия есть (я беру религию в самых ее недрах, поскольку я ее себе представляю) попытка дорваться до вселенской связи. Религия есть ощущение связанности с универсумом. Мы знаем, именно благодаря религиозному подходу, что мир не хаос, каковым он является для животного. Мир есть космос, красота, гармония, сочетанность, связанность, целостность. Итак, лишь человек, являясь верховным звеном животной цепи, был в состоянии дойти до восприятия мира как единого целого. Мы воспринимаем это единое целое не только как теоретически мыслимое единство, не только воспринимаем это единство путем известной философской концепции, мы воспринимаем это единство и внутренне, органически, жизненно. Мы воспринимаем это единство как живое, как то живое, в котором мы можем найти отклик своей жизни, которая нас понимает, которую мы понимаем и которую мы любим, потому что в ней верховая красота бытия. Вот почему религия является Гауризанком, высшей точкой человеческой мысли и достижений, хотя, не всякий может, в силу различных причин, в силу религиозной патологии, воспринимать это единство, взойти на гору.

Вы, граждане, хорошо знаете, что в мире гораздо больше звуков, чем мы слышим, что в мире есть гораздо больше цветов, чем мы воспринимаем. Ультрафиолетовые лучи, инфра-красные лучи мы не воспринимаем, обер-тона мы не воспринимаем ухом, но они есть; они или слишком низки, или слишком высоки, и эти цветы и звуки наша маленькая раковина — ухо, глаз — ложечкой зачерпывает из мира симфонии звуков и цветов только некоторые гаммы и октавы. Вы были бы неправы, сказав, что в мире есть

только те звуки, которые вы воспринимаете. Так и в мире духовном. Мы не говорим, что мы особая порода людей, что мы аристократы духа, аристократы мысли, рафинированные религиозные интеллигенты. В нашей вере нет никакой заслуги, как нет заслуги в том, что я черный, а не блондин, но этот религиозный опыт, эта расширенность сознания, теоретически мыслима у всех нас и практически заложена и неистребима у всех же. Я не буду говорить о том, что и сам Анатолий Васильевич в одном своем сочинении «Религия и социализм», том I, стр. 48 — 49, в свое время понимал, что и марксизм есть религия. Я не настаиваю на этом, потому что Анатолий Васильевич считает эту свою книгу грехом молодости, но я полагаю, что это была правда жизни. Когда упомянутый выше крымский терапевт, говорит, что религия есть атеизм, он говорит правду атеистическую, психологическую и мистическую. Позвольте напомнить вам слова, известные слова, Оскара Уайльда: «Я полагаю, что наступают дни, когда и атеизм будет иметь свою религию, когда на алтаре, где не горит ни одна свеча, священник, в сердце которого нет мира, совершил литургию пустою чашею и не освященной гостией». Красиво, поэтично, но это не грэза. Разве вы не знаете, что в Англии существовала долгое время, может-быть существует и сейчас, так называемая Гуманистическая церковь, где те, которые порвали со всякой религией, спрятывают по воскресеньям те общественные собрания, которые они сами называют «мессами». Мне как-то попалась в руки их «мессал» — их служебник. Я вспоминаю содержание одной их молитвы: «ite, missa est» — «идите, литургия окончена, идите с миром». Там есть такие места: «идите, дорогие друзья, в мир и помните об общей человеческой солидарности»... «Идите в мир и помните о пользе мира, что только коллективизм, солидарность помогут вам в достижении вашей общей задачи». Это называется молитвой. Фарс ли это? Это вздох души к богу; это искаженное дыхание больного человека с точки зрения религиозной, это — поверхностное дыхание, выражаясь термином медицины, но это религиозное дыхание.

Граждане, в Москве год тому назад я получил испанскую книгу из одного южно-американского города, из Чили. В этом полу-мифическом для нас, европейцев, городе нашелся какой-то мой ожесточенный почитатель, который прислал «монсеньору Введенскому» свой последний труд. Книга эта написана по-испански, и я с грехом пополам разобрался в ней. Основная мысль этой книги была: нужно уничтожить все религии и создать новую — религию Огюста Конта. Вы помните эту трагедию с Огюстом Контом, который уничтожил бога и, как богу, поклонился человечеству? А он был позитивистом. Вы помните также трагедию Великой Французской Революции, когда декретом власти бог на небе был уничтожен, а из собора Парижской Богоматери была выкинута статуя пречистой и на ее место была посажена раздетая актриса, которой поклоялись, как символу разума. Представьте

себе: уничтожают пречистую и сажают на ее алтарь раздетую актрису. Не насмешка ли это истории? Не уродливая ли это тоска о пречистом, который существует и для тех, кто этой чистоты не хочет?

Граждане, атеизм есть лишь упадок религиозного сознания, подобно тому, как бывает тугоухость, полная близорукость, граничащая с слепотой, которая часто бывает от того, что человек поставлен в ненормальные условия. Если глаза у меня здоровые, зрение хорошее, но я буду посажен на долгое время в темноту, естественно, мое зрение атрофируется. В наши дни совершается великий эксперимент над человечеством: его лишают света религии, и люди перестают ощущать бога. Комсомолы являются искренними атеистами, но фактически, ставя диагноз наподобие профессора-окулиста, я бы сказал, что они страдают жестокой болезнью религиозного зрительного нерва, угрожающей атрофией зрения, но это только болезнь, а нервы сохранены.

Думаете ли вы, что я, во что бы то ни стало, хочу внедрить в вас, против вашей воли, сознание того, что и у вас есть религиозное чувство? Несмотря на свою рясу, я пытаюсь подходить ко всему профессорски; пытаюсь, если для меня это возможно, подходить к научным и религиозным проблемам. Меня за это высмеял недавно «Смехач», но этим никакой цели не достигнуто, ибо если вы, не поняв противника, стараетесь его тем не менее высмеять, значит, вы высмеиваете собственную несообразительность. Я, гражданин, не изобретал механических путей богореальности, но полагаю, что бытие бога устанавливается научно. Когда выйдет в свет та книга, которая проходит сейчас цензуру в Главполитпросвете, моя «Апологетика», я надеюсь всесторонне выяснить, что научный подход к религии и в наши дни не есть пустой звук, не есть только воздух. К слову, вчера Анатолий Васильевич сказал: «Воздух, это есть воздух». Нет, воздух, это — кислород, а не пустота.

Граждане, религиозное чувство оправдывается, по-моему, в наши дни и научно. Таково мое утверждение. Если мне говорят, что религиозное чувство у молодежи, которая считает себя неверующей, как-будто бы отсутствует, то я должен привести два существенных отвода. Я никого не хочу обижать, я глубоко уважаю моего оппонента — иначе я не стал бы вступать в спор, — глубоко уважаю и аудиторию, в которой есть атеисты и верующие — иначе я не стал бы выступать передней, — не поймите, что я хочу вас тонко, по-митрополичьи, уязвить, я лишь говорю то, что думаю, так как у нас свобода слова и революция дала нам свободу и полноту дискуссии, — поэтому я открыто утверждаю, что неверие бывает двух родов, как и вера. Бывает вера вот какого типа: «Я верю в бога потому»... — это тихоновская вера (я не люблю тихоновцев, я это не скрываю, в этом отношении я — грешный человек, не люблю контрреволюционеров). «Я верю в бога, ибо папа с мамой сказали

это, и икона висит в переднем углу, и подруги ходят в церковь, и батюшка приходский это сказал». Это — вера? Нет, это — уважение к родителям. И, граждане, бывает вера Достоевского, бывает вера Паскаля, бывает вера Пастера, Моди, Планка — выношенная, вымученная вера. Эта вера — вера благородного типа. Так и неверие: бывает неверие, которое я для себя, иногда для друзей (мы здесь друзья) называю неблагородным неверием. Например, в Москве, где я чаще всего пребываю, на трамвайной остановке я видел человека, в великолепной одежде (котиковый воротник, котиковая шапка, распахнутое пальто, объемистая внутренность, длинная золотая цепь) — в руках «Безбожник» и усмешка по поводу картинки имени Дени, которую он рассматривает. Я понял психологию этой улыбки — это стоит нэпач: бога нет — завтра надую вдвое. Отсутствие бога ведь развязывает руки — у одного для революционных поступков, у другого — для биржевых спекуляций, — все дело вкуса. Граждане, разве это неверие? Или когда человек боится, что его из профсоюза, вопреки профсоюзному статуту, вычеркнут или исключат со службы при ближайшем сокращении и он перестает ходить в церковь, разве это неверие? Это — усердие по начальству. (*Аполлонидменты, голоса браво.*) Поэтому я очень скептически отношусь к так называемому торжеству современного атеизма. Конечно, мы имеем и таких убежденных атеистов, может быть тоже вымучивших и проанализировавших свое неверие, как мой достопочтеннейший оппонент. Я знаю, что у них бывает трагедия сомнений прежде, чем они придут к гармонии неверия, к убежденному атеизму; может быть я близорук, но я знаю таких людей, в своем беспартийном опыте, немного, — вот почему я считаю современное неверие, как таковое, не атрофией религиозного чувства, а болезнью. Маленькая иллюстрация: ко мне являются две девочки — семи-восьми лет — одного из тех учреждений, высококультурных и гуманных, которые находятся в непосредственном распоряжении Анатолия Васильевича, из детского дома. Простите — из песни слово не выкинешь, хотя бы это была песня о самом себе, не считите это за нескромность. Это было в провинциальном городе. Они мне сказали: «Профessor, нам говорят, что вы очень умный человек и все знаете. Так вот мы пришли...» (Они говорили это иначе, я не могу передать детского лепета, жаргона, но мысль была такая.) Они пришли у меня проверить следующее: они не имеют родителей, не помнят их и воспитывались несколько лет в детском доме, где им учительница говорила, что бога нет. Учительница для них величайший авторитет. Все поверили учительнице, что бога нет, а вот эти две девочки по ночам встают и молятся Богу, и у них, как они говорят, и тепло и хорошо потом на душе. Вот они пришли у меня проверить: учительница ученая, а про меня говорят, что я еще ученее. «Кто прав — учительница или вы, скажите — есть Бог или нет? Мы ничего не можем противопоставить».

вить учительнице; мы молимся богу, и после этого нам хорошо». Понятен был мой ответ, как епископа. Таких фактов, что у ребенка, несмотря на специально созданную религиозную темноту, несмотря на то, что он был в окружении атеизма, осталась живая, религиозная душа, таких фактов я знаю гораздо больше, чем у меня было бы времени для того, чтобы вам о них рассказать. В этом для меня доказательство того, что религиозное чувство и в наши дни остается совершенно неистребимым, стихийным порывом к богу.

Граждане, я бы на этом и закончил. Я не хочу употреблять пафоса и патетики для того, чтобы мне не говорили, что я высококвалифицированный религиозный гипнотизер. Я постараюсь кончить возможно скромнее, хотя бы и в ущерб самому себе. Истина бывает ярка и без пышных фраз. Кончу на манер «пророка»; Анатолий Васильевич выступал ведь в качестве пророка в отношении меня; он говорил: вероятно Введенский то-то и то-то скажет, а я предположу, что Луначарский то-то и то-то скажет. Если я ошибусь — errare humanum est. Мне скажут, что это все верно; но ведь религия — это опиум, дурман, сивуха (для тех, кто не знает латинского языка, пришлось перевести так неточно на русский язык, из-за отсутствия классического воспитания, опиум — сивухой). Скажут опиум — и человек ошарашен. А вот мне крымский профессор советовал на первом же анти-религиозном диспуте — авторство этой мысли не мое, а крымского профессора, — напомнить о той роли, которую опиум играет в медицине. Он мне советовал процитировать фразу Сигенгама, английского врача, давно жившего, но с мировым именем, который буквально сказал: «если бы не было опиума — я бы не хотел быть врачом». Опиум исцеляет от некоторых психических заболеваний. Так Бехтерев лечит опиумом меланхолию. Во всяком случае, опиум уменьшает боль в жизни и с этой точки зрения опиум для нас сокровище, которое дают нам по каплям. Я представил бы себе, что для атеиста, буде у него был бы широкий человеческий, а не атеистический сектантский, фанатический подход к вере, я бы полагал, что для такого широкого атеиста религия все же должна была бы быть некоторой ценностью, хотя бы из порядка опиатов, ибо сколько слез она осушила, сколько ран она исцелила, сколько, выражаясь языком евангелия, «сломанных тростников не доломила». Но для нас, верующих, вера не только опиум от страданий, но и жизнь.

Если вы будете утверждать, что религия скрывает от нас наши истинные задачи, что религия заставляет нас заниматься *dolce far niente* — сладостным ничегонеделанием, я — я скажу, что вы не правы, ибо если есть буддизм, если есть восточный квиртизм и фатализм, то есть действенное христианство, и несмотря на реабилитацию Толстого Луначарским, еще раз говорю: ничего общего с Толстым не имеющее христианство активное, вплоть до бича и легионов ангелов, христианство как борьба

с мировым злом, борьба за социальную правду жизни, но с богом, но с мировой правдой, но с мировой красотой, с мировым солнцем религии, которое не померкнет потому, что у вас недостаточно ярок огонь вашей сообразительности. (*Аплодисменты.*)

### **Заключительное слово А. В. Луначарского.**

Товарищи, хотя гр. Введенский и не терял сегодня времени для ответа на вчерашнее мое возражение, но отвел его за то, что оно было веселое, что оно было «аллегретто». Я очень рад тому, что сегодняшняя речь гр. Введенского будет напечатана в той самой книге, где и это мое «аллегретто». И, может-быть, прочитавший обе речи не откажет мне в логичности, простиив даже не скучный, не печальный тон. Хорошее аллегретто — тоже хорошая музыка, и я не обещаю вам, что и в сегодняшнем ответе гр. Введенскому мне не придется немного пошутить. С другой стороны упрек в том, что я прибегал к зоологическим сравнениям я желал бы отвести. Во-первых, сравнение с апостолом Петром вряд ли может быть названо зоологическим, во-вторых, что касается сравнения с верблюдом, то позволю себе напомнить: никто иной, как гр. Введенский, доказывал нам, что Христос одинаково любвеобильнo относился как к бедным, так и к богатым; и если Христос мог сравнить богатого с верблюдом, то почему мне не прибегнуть к тому же сравнению для идейного богача митрополита Введенского? (*Аплодисменты.*)

Первое существенное возражение гр. Введенского было мною предвидено. Не верьте в чудеса, товарищи, не верьте, что я, в силу пророческого дара, предвижу, что скажет гр. Введенский, а он тоже в силу особого, данного ему свыше, проникновения в будущее угадывает, что скажу я. Мы не в первый раз встречаемся и немножко знаем друг друга, — здесь не чудо, а, просто, взаимное знакомство. Поэтому не нужно удивляться, что я угадал, думая, что будут ссылки на буржуазных ученых и будут также попытки оных буржуазных ученых реабилитировать. И так как наука — вещь для нас до чрезвычайности важная, то я со всей серьезностью хочу сказать несколько слов о том, как мы относимся к этой науке и ее буржуазным элементам. Ученые учат не только о боге, они учат также политической экономии, которая защищает богатство и капитализм. Мало того, ученые, как вам известно, следуя чисто объективной науке, выдумывают теперь все те страшные и разрушительные орудия, которые ближайшую войну могут превратить в причину чуть ли не гибели человечества. Не нужно поэтому слепо подходить к науке, не нужно ей поклоняться, ибо наука может быть разная и, на основании примеров, мы видим, что наука часто может служить злу, что под маской учености можно проповедывать ложь. Само собою разумеется, что мы чествовали науку

в лице Академии. Но я не знаю, все ли речи, произнесенные на этом чествовании, напечатаны и все ли их слышал и читал гражданин Введенский. В этих речах мы заявляем, что мы чтим науку, основывающуюся на опыте и делающую из него правдивые логические, теоретические выводы. Но мы указываем вам, наши академики и наши гости, что мертвый еще держит живого, и что в вашей науке имеется еще значительный ингредиент буржуазных заблуждений и буржуазного обмана. Мы представляем себе наше будущее, как освобождение пролетариата от того, что вашу науку грязнит. Это мы говорим со всей откровенностью, потому что это — не классовый предрассудок, а самая настоящая истина.

Гражданин Введенский спрашивает, спорят ли революционеры и контр-революционеры о том, что дважды два — четыре. — Нет. А о том, что бог есть, — спорят. Значит, не нужно так быстро проводить знак равенства между «дважды два — четыре» и «бог существует». Существует наука, которая настолько связана с техникой, на которой базируется и которой дорожит буржуазия, что буржуазия не может и не смеет фальсифицировать эту науку. Если бы буржуазия потребовала фальсификации таблицы умножения, если бы буржуазия потребовала фальсификации законов физики и химии, то ее заводы и фабрики перестали бы приносить барыши, и это одно уже заставляет буржуазию требовать от ученых правдивости в этой области. Но когда мы переходим к социологии, философии, религии и т. д., — здесь буржуа в истине не заинтересован; наоборот, он заинтересован во лжи, ибо истина — даже по мнению гражданина Введенского — должна была бы вести к уничтожению классового неравенства, к уничтожению, как нерационального, ненужного, вредного для нас капиталистического строя. Буржуазия на это ити не хочет, и всем давлением своей культуры, своей государственной власти и своей экономической мощи она иска жает науку, требуя от нее апологий того несправедливого порядка, с которым слиты ее интересы. Вот почему, как только мы переходим к этим областям, мы замечаем почти сплошную фальсификацию науки, фальсификацию истины со стороны нынешних ученых. Но при этом ученые эти впадают во внутреннее противоречие. Физика, химия и вообще естествознание говорят одно и ведут прямую дорогу к атеизму. Возможность вознаграждения за муки и несправедливости этой жизни в жизни на небе помогает успокаивать и призывать к терпению массы, обещая воздаяние в «той» жизни. Это настолько важно для буржуазии, что теперь, во второй период своей жизни, когда она изменила свою буржуазную природу, все теснее становится ее контакт с духовенством. Вот почему сочетается, иногда парадоксальнейшим образом, вера бретонки с научным открытием. Мы смотрим на это, как на тяжелую социальную болезнь. Мы жалеем этих людей, которые застряли в буржуазном болоте, и мы стремимся возможно скорее освободить их оттуда. Мы всецело при-

вествуем и всячески защищаем трезвый, свободолюбивый, плодотворный дух науки и ненавидим агрегаты, на которые так любит ссыльаться духовенство; ибо это есть дань науки старине, находящейся в полном аккорде с буржуазией. Один из примеров этого печального явления — изыскание Шмидта, о котором говорил гражданин Введенский. Если ити за товарищем Шмидтом, окажется, что надо притти к гипотезе или вере в создание Адама господом-богом, ибо оказывается, что те примитивные ступени, которые раскрывают перед нами археология и этнография, не первоначальны, они есть продукт более высокой цивилизации. Значит, история человечества идет не снизу вверх, а сверху вниз, и приходится этот библейский миф положить в начало истории культуры. Предоставим дальнейшему научному спору развеять эти научные софизмы и эти нагромождения ошибок целыми фолиантами. Не здесь мне препираться с гражданином Введенским на тему, чисто научную тему, о том, насколько доказательны изыскания Шмидта. Но гр. Введенский затронул другую сторону и сказал: «Я совсем не настаиваю на той точке зрения, что мы все не произошли от обезьяны. Вы, материалисты, лучше знаете ваших родственников». Но я не знаю, кто лучше, тот ли, кто, произойдя с низов, произойдя от животных, поднялся усилиями своего гения до нынешнего человечества, или тот, которого высочайший господь создал по образу и подобию своему и который опустился до того, что, — как говорит гр. Введенский, — обидно за животных, когда людей сравнивают с ними. (*Аплодисменты.*)

Есть теория нелепой ошибки бога, который по образу и подобию своему создал что-то худшее обезьяны. Это есть теория регресса, теория распада. Вся эта теория исходит из того, что все хорошее, что в нас есть, заложил в нас некоторый барин, выше нас стоящий, который дал нам это, как подарок. Это есть остатки крепостнических, верноподданнических ощущений. Наше же ощущение говорит, что жизненная цепь идет не только от обезьяны, она идет вообще от млекопитающих, от животных все ниже и ниже стоящих, вплоть до первичной клеточки материи, но она представляет собою чудесное развитие вверх, роскошное дерево, которое уже сейчас получает соки и даст в будущем высочайшей красоты и мудрости существа. И я думаю, что нынешнему рассуждающему человеку никогда не может чувствовать себя униженным этой картиной; но скорее может почувствовать себя оскорблением картиной такого создания из ничего, «по образу и подобию божества» для мук, для страданий, для падения. (*Шумные аплодисменты.*)

Здесь была подана записка, в которой был дан совет нашему Губполитпросвету: пригласить гр. Введенского в качестве инструктора антирелигиозной пропаганды (*смех*), так как гр. Введенский дал нам несколько добрых советов и указал, каковы пороки нашей антирелигиозной пропаганды, почему она

слишком слаба. Он заявил, что мы целим не в то место, которое называется «Ахиллесовой пятой» религии. Вряд ли гр. Введенский думает, что религия жива только потому, что мы плохо целим и не знаем, где эта Ахиллесова пятая, а что если бы мы не вели борьбу с ветреными мельницами, а нашли бы настоящее нутро и туда бы грянули наши остроги, то сумели бы выловить этого грандиозного кита. Может быть, это была бессознательная уловка гр. Введенского, которая заключается в том, что он, указывая на некий драгоценный плащ, говорит: вот это — мое тело, сюда стреляйте.

Нет, мы очень хорошо знаем, куда стреляем. Пусть не думает гр. Введенский, что мы думаем поразить религию нашими словами. Маркс и марксисты знают, что религия испарится лишь тогда, когда человечество будет здорово. Мало того, чтобы притти к больному человеку и рассказать ему о здоровье или убеждать его, что он болен, — это еще не лечение. Поэтому ничего удивительного нет, что пока существует бедность, страдания, пока мы живем в таком мире, где человек не является хозяином, будет существовать религия, как бы ни старались ее вырвать с корнем. Никакими насилиями ее не вырвешь: от этого корни ее только углубятся, — а всячески нужно воздерживаться от всякого рода насилия. Дискуссиями религии вырвать нельзя, это мы тоже хорошо знаем. Мы верим в силу слова, мы пользуемся этим словом, но твердо знаем, где границы этого слова. Наша антирелигиозная борьба есть только слабый спутник нашей основной линии поведения, которая заключается в освобождении человеческих сил, в гармонизации сил всего человечества, — это дело только начато, мы лишь находимся у колыбели этого дела, и нам предстоит большой труд. А вот тогда, когда мы достигнем значительных результатов, мы подсчитаем, сколько людей проснулось для нового, трезвого, практического мировоззрения и сколько осталось в плену у древних или средневековых предрассудков.

Когда гр. Введенский говорит, что не следует вести борьбу с низами религии, что следует метить в верхи, — я с этим, конечно, совершенно не согласен. Прежде всего мы будем считаться с низами; не только потому, что это есть большинство человечества, но еще и потому, что верою низов держатся и самые верхи. А если бы эти верхи в конце концов превратились в индивидуальных чудаков, употребляющих религиозный опиум для собственного услаждения, то это не было бы большой бедой. Поэтому мы продолжим нашу работу освобождения больших масс от власти религии.

Да, гр. Введенский был в значительной степени пророком того же типа, что и я, когда он говорил, что на его аргументы о религиозном чувстве я буду отвечать, исходя из нашего положения о том, что религия есть опиум. Что говорит нам гр. Введенский? Он говорит: «посмотрите на атеистов, в сущности

говоря, атеист тоже религиозен». И он приводит целый ряд чудачеств людей, которые едят с пустой тарелки и пьют из пустой чашки; это знаменует то, что он назвал поэтичностью религиозного чувства. Это свидетельствует, что эмоциональные основы, о которых я говорил, держат еще крепко, потому что люди не проникнуты уверенностью реально улучшить свое положение. Курильщику трудно отвыкнуть от папирос — он курит вредную дрянь, чтобы до некоторой степени удовлетворить отброшенную им потребность. Так и отдельные люди или круги отказались от религии и некоторое время употребляли безалкогольный алкоголь или бестабачный табак. К этому нужно отнестись, как к временной переходной стадии, как к чудачеству, не имеющему ничего общего с религиозным атеизмом, под знаменем которого идет передовой рабочий класс и о котором мы здесь говорим.

Гр. Введенский неоднократно прибегал здесь к сравнению человека с животным. Человек не отличается от животного ни тем, ни другим, ни третьим, но он, говорит гр. Введенский, религиозен, а животное не религиозно. — Ну, хорошо, а животное философствует? Нет, не философствует. И гр. Введенский говорит — единство мира, чувствование мира, как единого, — вот что основа религии. Но не всякий, кто чувствует мир единым, религиозен. Мир можно чувствовать, как единый комплекс бытия. Марксисты утверждают, что мир един; животное не имеет этого суждения. Значит отсутствует синтез или достаточная сила мысли, которая послужила бы фундаментом и для таких истин и для таких наблюдений. Видели ли вы животное, которое делало бы арифметические ошибки? Нет, потому что оно арифметики вообще не знает, так как арифметикой не занималось. Так нельзя сделать религиозных ошибок, если не занимаешься вопросами религии. Это никуда негодное доказательство. Переходя к более шутливым, но достаточно глубоким соображениям, я должен сказать, что, действительно, животное не потребляет наркозов, не пьянеет, а человек пьянеет. Можно было бы сказать: основная разница между человеком и животным в том, что человек — пьяница. Между тем, это происходит потому, что человек недостаточно силен, чтобы обойтись без отравляющих веществ. В области мысли человек чувствует горе и достаточно силен, чтобы натолкнуться на средства, его ошеломляющие. Плох тот врач, который навел гр. Введенского на мысль о спасительности опиума. В чем тут дело? Конечно, опиум может быть лекарством, но, во-первых, лекарство нужно для больного и не нужно здоровому. (*Апологиcменты*.) Поэтому словами Введенского нужно сказать: надо сохранить в аптеке немножко религии, чтобы выдавать по рецептам остающимся еще больным людям для притупления их мыслей. Но отсюда мы отнюдь <sup>тие</sup> сделаем вывода, что мы должны объявить хотя бы даже свободу торговли опиумом.

Этого у нас нет, хотя, к сожалению, есть восстановление торговли более слабыми наркотиками, что является довольно неприятной уступкой нашему быту и, пожалуй, некоторой опорой дальнейшей устойчивости религии.

В этом и заключается центральная идея марксизма, как реалистического миросозерцания, что он полагает возникновение и развитие религии совершенно неизбежным фактом, совершенно неизбежным последствием определенного социального положения. Только полное изменение социального положения, т.-е. полное выздоровление, сделает религию никому не нужной, и считать ее побежденной можно будет только тогда.

Между тем, эта идея послужила Введенскому основой всего его рассуждения, поднимавшегося на большие высоты поэтичности и трогательности. Так, например, он привел такой аргумент, в котором, право же, я чувствую некоторую слабость его позиции. Он сказал: «можете ли вы называть ложным то или иное миросозерцание, тот или иной поступок, который является сладостным или утешительным для данного человека?». Был приведен ряд примеров: можно ли называть ложным то чувство, при котором влюбленный в музыку музыкант занимается этим высоким искусством, даже в том случае, если он экономически от этого страдает? Этот пример интересен потому, что мы можем привести факт из нашей собственной истории, как раз совпадающий с этим примером. Карл Маркс — наш великий учитель — жил в большой нищете. Был случай, когда ему не на что было похоронить своего умершего сына. Его семья в буквальном смысле слова голодала. В это время он писал «Капитал». Он получил предложение начать сотрудничать в одной американской газете за хорошее вознаграждение и — отказался. Его друг пишет ему: «ты слишком непрактичен, Карл; разве можно подтасчивать свое здоровье и осуждать свою семью на голод только из принципиальности и чрезмерной скрупулезности!» Маркс отвечает: «я был бы непрактичным, если бы по каким бы то ни было соображениям, хотя на один день оставил мой труд, ибо скорейшее окончание его я считаю полезным для человечества». Таким образом, и Маркс убия экономику, хотя был экономистом. Он не думал, что такого рода соображения можно класть в основу рассуждений о человечестве, что можно требовать от него таких героических взлетов и говорить: «вы голодаете, вы работаете по 10 часов в сутки — ходите в Бритиш Музей, пишите «Капитал» — и вы утешитесь». Он знал, что это пустая болтовня, что для того, чтобы люди поднялись на эту высоту в массе, основной предпосылкой является реальная реформа. Нас не удивит никакой Златоуст, который писал, что даже в геенне огненной горящие не оставляют веры в Христа. Зачем же далеко ходить? Стоит копнуть любую историю, любой день наших революционных битв за эти восемь лет, чтобы видеть, как материалисты, которые ни в какую душу не верят и никакого бессмертия не

ждут, которые говорят, что они борются за реальное счастье на земле, проводят свою жизнь в бесконечных военных трудах и идут в передних рядах на верную смерть. Такая преданность идеи не есть отрицание материализма, а совершенно естественное проявление героического боевого взлета человечества, в его борьбе именно за такой строй жизни, который создал бы достойное человека существование для всех. Поэтому, переходя к другим примерам гр. Введенского, можно сказать, в чем основная суть этих ссылок на отца, ласкающего ребенка, на мать, видящую красавца в своем дитяти и т. д.; — это переход на защиту субъективных позиций. Гр. Введенский отступает с той позиции, которая говорит: религия есть истина, и ее нельзя поколебать, она очевидна. Нет, у него с одной стороны доказательство такое, что даже атеист, когда он отучается курить религиозные папиросы, все-таки что-то курит, чем-то дымит.

Второе доказательство: религия все еще существует. Этого мы не только не отрицаем, но и говорим, что надо с ней бороться.

И третье доказательство: если человеку с ней хорошо, так и не мешайте ему. Но мало ли с чем человеку хорошо! Так рассуждая мы опять придем к примеру с сивухой, так неприятно действующему на нервы гр. Введенскому. Ведь, в самом деле, когда привычный запойный пьяница тянет эту самую водку, ему кажется, что с ней хорошо. Но если он прозрел и увидел, что это ведет его в бездну, он старается лечиться, и человек, который его любит, должен сказать ему: ты портишь свою нервную систему, губишь свое здоровье воображаемым счастьем такого пьяного экстаза, подмения им настоящую борьбу за счастье.

Тут полнейшая аналогия с тем подходом, который употребляет гражданин Введенский. Его подход такой: не мешайте человеку в субъективном мире, который он себе создал. Это значило бы, что мы не должны никого трогать, сказав себе: и религиозные предрассудки, и религиозность каких-нибудь шаманств, может быть даже с человеческими жертвоприношениями, — пусть все это остается. В самом деле, — им хорошо; они полагают, что зарезать молодого человека во имя какого-нибудь фантастического бога в высокой степени важно для устройства счастья. Так что же, разве скажем мы: «они так думают, пусть думают и впредь». Христианские миссионеры так не говорили. Христианские миссионеры говорили так: «какие-нибудь язычники бесчисленных толков верят по-своему, но я просвещен светом христианства и я знаю, что язычник идет прямо в ад, ибо не знает истин евангелия. Поэтому я пойду к нему и во что бы то ни стало вырву его из пасти геенногенной и просвещу настоящей истиной».

А теперь, вдруг, христианские мистики такого высокого типа, как Введенский, говорят: «мы вас не будем просвещать, раз вам хорошо с атеизмом, и вы нас не трогайте, если нам хорошо; и если мы считаем наших детей за красавцев, не раскрывайте нам глаза, не бередите наше отцовское сердце».

Нет, так рассуждать нельзя. Мы рассматриваем себя, как носителей активной истины. Мы не можем сказать, что мы верим. Мы также претендуем, как и гр. Введенский на то, что мы знаем, а поскольку мы знаем, мы исповедуем; мы исповедуем, мы спорим, — а поскольку мы спорим, мы говорим такому влюбленному в своего ребенка отцу: «а глаза-то у него нет; может быть полечить его надо». Это было бы жестоко на примере индивидуальном, — отчего не поощрить чудачество? Но когда дело идет о громадных общественных величинах, о судьбах мирового народа, тогда, конечно, прямота и активность являются нашим долгом; мы вынуждены будем и впредь скрещивать в этом отношении наши мечи.

Переход на эту оборонительную субъективную позицию есть, по моему, один из слабейших пунктов защиты гр. Введенского. Правда, у него есть заранее заготовленные окопы — это имеющая выйти в свет его книга. Я буду очень рад, когда эта книга выйдет. «Если только жив я буду, у Гвидона погощу, чудный остров навещу», в книге этой постараюсь разобраться и посмотреть, какие там золотые орехи философии разгрызает белка таланта гражданина Введенского (извиняясь за зоологическое сравнение). Думаю, что я на этом острове не встречу никаких чудес, а найду только хорошо обставленную юридически аргументацию того же типа, с которым мы и теперь встретились. Основное утверждение гр. Введенского заключается в том, что религиозное чувство сильно, что оно пока еще не истреблено, а потому и неистребимо, что оно есть вещь субъективная, а субъективное чувство благосостояния само за себя говорит и т. д. Такая аргументация есть отступление, но и на этих позициях, на которые отступила религия, мы ее не оставим, — мы будем преследовать ее дальше.

Кончил гр. Введенский ссылкою на позицию, которую он вчера защищал, — активность христиан. Очень хорошо будет, если в своей книге гр. Введенский, — перечитав страницы о Толстом и Христе, которые будут напечатаны в нашей книжке, — постарается ответить на мою аргументацию и поставить под сомнение положение о том, что никакой разницы между элементом пассивности и активности Толстого и пассивности и активности христианства нет, и нет никаких опасений, чтобы христиане (не какая-нибудь святая инквизиция, конечно) были действительно активны и действительно боролись в жизни против царствующего в ней зла кроме как словом. Он может привести, как пример, отдельные ереси, но это уже отступление от христианства. Подлинные же христиане, конечно, говорят, что господь бог должен вмешаться в жизнь и устроить ее и что мы завоюем царствие небесное верою, любовью; отнюдь не нашим собственным протестом, не бунтом, не усилием собственных рук переделаем мы жизнь. Эта ссылка на активность христианства никоим образом убедить нас не может. Когда гр. Введенский говорит:

«Не трогайте христианина, он счастлив, потому что он верит в Христа и ему хорошо», то этим самым он и подтверждает то обвинение, которое мы предъявляем христианству. Мы говорим, что эта вера в несуществующее благо создает человеку наркотические иллюзии и ему будто бы хорошо. Мы предпочитаем, чтобы ему на первое время было худо, для того, чтобы он знал все болезни своего века и соответственно боролся за свое здоровье. Что такое та часть нашей нервной системы, которая приносит нам ощущение боли? — Это та часть, которая предостерегает наш организм, которая вызывает с этой стороны целесообразную реакцию. Но если боль невыносима, и мы не можем реагировать, тогда медицина дает опиум, признавая, что лучшее, что можно сделать, это — уменьшить боль, если нельзя найти законной реакции. Законная реакция в настоящее время найдена. Законная реакция в настоящее время — это путь активного коммунизма. И мы хотим, чтобы все, кто находится в гибельном положении, были бы больны для того, чтобы научиться активно протестовать. И поэтому нам не нужно сейчас опиума, а нам нужно мощное восстание всех органических сил человеческих в борьбе за свое здоровье. В тот час, когда это здоровье будет достигнуто, не только болезни уйдут из жизни человечества, но выкинуты будут и все наркотики. Так обстоит это дело.

Товарищи, я очень доволен тем, что дискуссия не заканчивается сегодняшним нашим выступлением. Никогда никакая дискуссия, никакое возражение и контр-возражение не могут считаться окончательно убедительными. У каждого остается чувство, что противник возразил бы с трудом на новые пришедшие в голову слова, а кроме того — в памяти стирается живая аргументация, которую вы слышите в течение вечера. Поэтому очень хорошо, что наша дискуссия будет напечатана, проверенная обоими спорящими, что те кто действительно глубоко заинтересовались поставленными вопросами и считают, что эта дискуссия проливает на них свет, могут спокойно с карандашом в руках прочесть те и другие аргументы, и что каждый из нас в дальнейшем, в тех книгах, которые мы будем готовить, сможет остановиться на позициях, занятых противником.

Никогда не претендуем мы, что подобная дискуссия может вырвать из верующего сердца его веру, как никогда не претендуем на то, чтобы эти дискуссии могли убедить противников или целиком осветить вопрос. Но мы думаем, что они являются важным актом того попутного умственного процесса, которым мы сопровождаем нашу борьбу за лучшее будущее; мы просим отнестись к этой дискуссии именно так и верим, что эта дискуссия в этом смысле имеет некоторое общественное значение.  
*(Аплодисменты.)*

HX 536 .L961  
Khristianstvo ili kommuANQ2869  
Hoover Institution Library



3 6105 082 738 084

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

СТР.

I. Христианство или коммунизм.	
Доклад А. В. Луначарского . . . . .	5
Содоклад А. И. Введенского . . . . .	21
Заключительное слово А. В. Луначарского . . . . .	31
II. Идеализм или материализм.	
Доклад А. В. Луначарского . . . . .	45
Ответное слово А. И. Введенского . . . . .	55
Заключительное слово А. В. Луначарского . . . . .	67